ISSN 0130 3600

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

10
82

10.335/3
1982

10.335/3
982

Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Закон человечности. Беседа с лауреатом Ленинской премии писателем НОДАРОМ ДУМБАДЗЕ 3

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

ШОТА НИШНИАНИДЗЕ. Стихи. Перевод Юнны Мориц, Давида Самойлова, Наума Гребнева, Льва Озерова, Михаила Синельникова, Евгения Евтушенко, Олега Чухонцева . 20

ГЕОРГИЙ ЦИЦИШВИЛИ. Невезучий капитан. Рассказ. Перевод А. Бестававшвили . . 36

РЕВАЗ МИШВЕЛАДЗЕ. Новеллы. Перевод В. Робакидзе и Л. Татишвили . . . 92

УШАНГИ РИЖИНАШВИЛИ. Датико-банкир. Рассказ 125

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

КОБА ИМЕДАШВИЛИ. Зов. 157

АЛЕКСАНДР МАРКЕВИЧ. «Я не умел своей душе помочь». Контур творчества Михаила КВЛИВИДЗЕ 167

10

1982

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

БЕСО ЖГЕНТИ. Союз сердец. Речь на юбилее Габриэла Сундукяна в 1976 году . . . 174

К 200-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЕВСКОГО ТРАКТАТА

ЦЕЦИЛИЯ КАЛАНДАДЗЕ. Обращаясь к истокам. Грузины в культурной и общественной жизни России в первой половине XIX века . 180

ОЧЕРК

ЛУАРСАБ ЕГОРОВ. Все флаги в гости к нам... . 202

ДОКУМЕНТЫ. ПИСЬМА. ВОСПОМИНАНИЯ

ДЖУМБЕР ОДИШЕЛИ. Яркая судьба . . . 206

ИСКУССТВО

ДАВИД АНДРИАСОВ. Феномен «черной палитры» 212

ХРОНИКА **205, 223**

© «Литературная Грузия», 1982 г.

ЗАКОН ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Беседа с лауреатом Ленинской премии писателем НОДАРОМ ДУМБАДЗЕ

121.956

всеми братскими республиками нашей страны будет праздновать славный юбилей — 60-летие со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. Близка и другая знаменательная дата: летом 1983 года отмечается 200-летие исторического Георгиевского трактата. Как известно, в результате этого договора создались благоприятные предпосылки для социально-экономического прогресса, ликвидации политической и экономической раздробленности Грузии, приобщения ее народа к передовой русской общественной мысли, взаимообогащения двух древних культур. В своей речи на юбилейных торжествах в Тбилиси весною прошлого года Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев отметил: «В литературе, живописи, музыке, театре, кино, архитектуре Советской Грузии есть замечательные творения, обогатившие многонациональную советскую культуру. Заметным взлетом художественного творчества отмечены последние годы». Высокая оценка. Она ко многому обязывает, она напутствует и вдохновляет.

ეროვნული ბიბლიოთეკა
ქ. მარქსის სახ. საქ. სსრ
სახელმწიფო რესპუბლ.
ბიბლიოთეკა

— Мы беседовали с Вами, Нодар Владимирович, девять лет назад, и тогда Вы сказали, что не намерены в ближайшее время браться за большую вещь, так как недавно закончили «Белые флаги» и усталость берет свое... А теперь, не говоря уже об остальном, — «Закон вечности», принесший Вам Ленинскую премию. Наверное, было бы наивным предполагать: рождение этого романа — результат того, что Вы «отдохнули»?

— Конечно. Писатель, художник вообще не умеет, да и не должен по роду занятий, отдыхать в общепринятом смысле слова — в смысле права и возможности хотя бы ненадолго полностью отключиться от работы. Это привилегия представителей... ну, более конкретных, что ли, профессий. Творческий процесс, как известно, непрерывен и непрерываем. Порою даже во сне... Впрочем, это слишком специальная тема. Во всяком случае скажу без всякого кокетства и ложной скромности, которую не люблю, что отдыхать после «Белых флагов» особенно не пришлось. И дело тут не только в невероятной сложности до сих пор не познанной (и познаваемой ли до конца?) сущности художественного творчества. Дело заключается в том, что минувшие годы были чрезвычайно напряженными, насыщенными событиями огромной, без преувеличения — исторической важности. Для моего народа. Для меня лично — как коммуниста, гражданина, писателя. Постановление ЦК КПСС по Тбилисскому горкому партии буквально все перевернуло в нашей жизни, поставило с головы на ноги. То, что было черным, перестало называться белым, и одно это само по себе не шутка — целая революция в подходе к вещам, настоящая переоценка ценностей. Все мы на себе испытали весомость позитивных сдвигов в экономической, социальной, культурной жизни Советской Грузии, которые совершились в результате первого и последующих решений Центрального Комитета по нашей республике. Не буду поэтому повторять известного, скажу о себе.

Разумеется, принадлежность к партии, гражданский долг, национальное достоинство, любовь к родной земле не могли позволить мне остаться в стороне от огромной работы, которая тогда началась. Хотя вскоре меня перевели из «Нианги» на другую долж-

ность, редакторство в этом журнале еще долго, если можно так выразиться, не давало покоя. Понятно почему: «Нианги» — издание, призванное не только смешить, но и (прошу прощения за «возвышенный стиль») клеймить, бичевать пороки, изживать все, что мешает людям жить, трудиться, а обществу — строить свое завтра, строить коммунизм. Вот и приходилось изо дня в день сталкиваться с явлениями, как принято их теперь называть, негативными, порою курьезными, подчас, мягко выражаясь, некрасивыми, а то и отвратительными, вызывающими злость и омерзение. В редакционном портфеле собиралась уйма материала, изобличающего взяточничество, коррупцию, продажность, ханжество и тому подобное. Естественно, опыт редактора очень помог, когда я работал над «Законом вечности». Полуживому Бачане предлагает в больнице взятку «табачный деятель», вздорная, глупая и не менее предприимчивая дама приходит просить за своего недоросля сына... Эти и некоторые другие эпизоды романа основаны на фактическом материале, взяты, что называется, из жизни, из нианговской практики. Это я опять-таки к тому, что отдыхать не пришлось. «Закон вечности» зарождался, по существу, еще до семьдесят второго года, обрастал тканью образов и мыслей в период первого, самого трудного и напряженного, наступления здоровых сил нашего общества на все уродливое и враждебное, а писать я начал после своей болезни. Мне тогда было сорок три года, и кто-то в больнице сказал: «Такой молодой — и инфаркт... И как он мог заболеть в таком возрасте? Подумать только!». И я подумал—и задумался. Собственно работа над книгой, процесс непосредственного ее написания длился года полтора, пишу я вообще быстро, вот думаю долго, прежде чем взяться за ручку. Словом, насчет «отдохнул» будет верным и такой ответ: если можно назвать отдыхом положение лежачего больного и то, что довело до инфаркта...

— В декабре страна будет отмечать 60-летие образования СССР. На август будущего года приходится другой большой праздник — исполняется 200 лет со дня подписания Георгиевско-

го трактата. Конечно, эти события во многих отношениях неравнозначны. И все-таки: что, на Ваш взгляд, сближает их?

— Георгиевский трактат был заключен не только потому, что Грузия искала защиты от внешних врагов, которые убивали людей, выжигали и вытаптывали виноградники, разрушали и разоряли наши города и села. Договор о протекторате России над Восточно-Грузинским царством был подготовлен и обусловлен исторически, всем ходом развития взаимоотношений русского и грузинского народов. Здесь сыграли свою роль и единство религии, и, в известной мере, общность судеб — русским ведь тоже пришлось хлебнуть много горя по милости чужеземных завоевателей, и близость национальных характеров — стремление к независимости, свойственные обоим народам интернационализм, исторический оптимизм, умение быть верными в дружбе. Переоценить значение Георгиевского трактата попросту невозможно. Не секрет, что в былые времена враждовали между собой отдельные народы Кавказа и Закавказья, даже внутри Грузии шла междоусобица между князьями. Договор покончил с внутренними распрями, фактически спас грузин от уничтожения как нацию, укрепил нас политически, создал предпосылки для прогресса экономики и культуры. Очень верно было сказано, что Георгиевский трактат сблизил не Романовых с Багратиони, а два народа. Такие замечательные писатели, общественные деятели, как Илья Чавчавадзе, Акакий Церетели, Якоб Гогебашвили, предельно высоко оценивали историческую роль этого сближения. То был союз равных, союз братьев, ибо в лице Грузии Россия встретилась с цивилизацией, которая ведет свое начало с древнейших времен, с высокоразвитой культурой, в том числе государственностью. Мы же приобщились к ценностям Толстого, Пушкина, Чехова, Горького, к идеям декабристов и народовольцев, наконец, обрели величайшее сокровище—марксистско-ленинское учение. За 65 лет, прошедшие после Октябрьской революции, и шесть десятилетий, минувшие со времени образования Союза ССР, наши народы сплотились теснее, чем за предыдущие сто сорок лет. О гигантском скачке в народнохозяйственном строительстве, который совершила Со-

ветская Грузия, я не говорю — его масштабы известны каждому школьнику. И дело здесь не столько в научно-технической революции, сколько в единстве наших устремлений, экономики, хозяйственных планов, планов социального развития. На чем основано счастье обыкновенной человеческой семьи? На взаимном уважении, взаимной любви, взаимном понимании, взаимном доверии, на общности главной цели. А мы — я имею в виду весь Советский Союз — одна семья. Очень четко сформулировал это на III пленуме ЦК Компартии Грузии Эдуард Амвросьевич Шеварднадзе: «За шесть социалистических десятилетий в Грузии разрослись, стали намного крепче дружеские узы, соединившие русский и грузинский народы. В этом... состоит историческая миссия социализма — сближать и роднить народы, утверждать между ними согласие и мир».

— С чем пришли грузинские писатели к 60-летию образования Союза ССР?

— Может быть, лучше поставить вопрос так: с чем пришла к 60-летию Союза ССР наша литература? Иначе придется называть имена, а это «опасно»: имен много, в том числе новых, и я могу чье-нибудь упустить... Кроме того, хотя принято говорить: «литература и искусство» и таким образом как бы разъединять два эти понятия, на самом-то деле они — дети одних родителей. И поэзия, и музыка, и проза, и театр, и скульптура, и хореография, и живопись, и кино рождены к жизни силой воображения и мастерства художника в широком смысле слова. За годы существования СССР, и особенно за последние десять лет, литература и искусство Советской Грузии достигли невиданного взлета, прочно утвердились в правах на международной арене. Ленинские и Государственные премии, другие общесоюзные награды разных категорий, триумфальное шествие по зарубежным сценам руставелевцев, уверенно растущая популярность студии «Грузия-фильм», многочисленные вершины, взятые нашей художественной интеллигенцией в целом,

которые принесли нам в виде медалей, призов, различных наград чуть ли не «все золото мира», — таковы наши шаги за очень короткий срок. Само собой, остановлюсь несколько подробнее на достижениях литераторов.

Думаю, достаточно выразительной будет короткая справка: за минувшие десять лет объем изданий вырос вдвое. Сегодня грузинская проза интенсивно переводится на языки братских народов страны и широко издается за рубежом. Могут сказать, что, мол, это понятно: невозможное в XIX веке, да и десятилетия два-три назад, сделалось доступным, стало заурядным явлением в результате научно-технического прогресса, вследствие других важных перемен в жизни. К примеру, СССР присоединился к Международной писательской конвенции, а журнал «Советская литература» выходит в семидесяти пяти странах, и в нем печатается все больше грузинских авторов. Так сколько же у них разноязычных читателей? Да, уточнение будет справедливое, и тем не менее главное не в этом. Важнее (так как это симптоматично, весьма показательно) другое. Скажем, факт, что зарубежные издательства в последнее время все чаще по собственной инициативе берутся выпускать книги наших писателей. Когда я был в США, там у меня попросили для издания роман «Я, бабушка, Илико и Илларион». Я им дал книгу в переводе на русский язык, а мне сказали, что лучше бы в оригинале... Конечно, дело здесь не во мне лично, а в том, что за границей возрос интерес к нашей литературе, грузинскому языку, культуре нашего древнего народа вообще; известно ведь: оригинал всегда, или почти всегда, страдает в переводе.

Бесспорно, своим взлетом за последние годы грузинская литература обязана в первую очередь новому курсу, осуществляемому Центральным Комитетом Компартии Грузии, его повседневной заботе о нашей художественной интеллигенции, постоянному — причем (и это особенно важно) деликатному, ненавязчивому, чуткому — вниманию руководителей республики к писателям, вообще творческим работникам. Мы в долгу перед партией и правительством за эту заботу и внимание, но еще больше — за неуклонность и

эффективность мероприятий по утверждению в нашей действительности ленинских идеалов, норм, принципов. Когда в жизнь общества вторгаются свежие и чистые веяния, совершаются дела, несущие в себе заряд подлинной революционности, осуществляются шаги крупномасштабные, смелые, радикальные, тогда действительность поистине щедро одаривает писателя вдохновением, и ему есть о чем писать. Такие долги нелегко выплачивать, но я готов взять на себя ответственность утверждать, что грузинские литераторы тоже немало помогали и продолжают помогать победе нового курса, которым следует сегодня партийная организация республики... Все мы приходим в этот мир и живем в нем с грузом долгов — перед родившей нас матерью, перед близкими, учителями, друзьями, любимыми — словом, перед всем, что зовется Родиной. Потом всю жизнь выплачиваем долги, и чем лучше это делаем, тем более счастливыми себя ощущаем.

— ...Тоже из категории «законов вечности»?

— Да. Из числа самых важных категорий.

— И 60-летие образования СССР, и 200-летие Георгиевского трактата — праздники, которые будут проходить в первую очередь под знаком утверждения идей ленинского интернационализма. Как Вы понимаете это емкое слово? Что бы сказал на этот счет Нодар Думбадзе-писатель и Нодар Думбадзе-человек, выросший и всю жизнь проживший в Тбилиси?

— Вопрос одновременно простой и сложный. По-моему, быть интернационалистом значит, прежде всего, независимо от того, кто ты — грузин, еврей, русский, турок, француз или чукча, — любить хороших людей, не задумываясь над их национальной принадлежностью, и враждовать с подонками всех разновидностей. Тоже без учета происхождения. Жаль, но есть довольно много важных по значению, как Вы сказали — емких слов, которые от частого (и нередко бездумного, механического) употребления стираются, утрачивают первозданную смысловую нагрузку, весо-

---

Закон человечности.

мость содержания. Порою я сам, слыша или произнося слово «интернационализм», невольно представляю себе научно-практическую конференцию на тему: «Об опыте интернационального воспитания в школах рабочей молодежи» или жирную красную галочку, которую с удовлетворением рисует в своем дневнике какой-нибудь лектор, любитель цитат и апробированных формулировок, после очередной прочитанной лекции. Я, конечно, не против научно-практических конференций, лекций, докладов, бесед и других форм массово-политической работы. Но я решительно против их профанации, особенно в такой ответственной области, как пропаганда идей интернационализма. Необходимо всегда помнить, что это очень просто и вместе с тем невероятно важно — уметь любить людей независимо от их национальности и ненавидеть тоже. И вообще — сначала разобраться в своем отношении к тому или иному человеку и только потом, если это потребуется, интересоваться, кто он в смысле своей национальной принадлежности.

В разговоре об интернационализме нельзя, на мой взгляд, забывать о том, что он отнюдь не исключает, напротив — подразумевает, усиливает роль в жизни человека больших, непреходящих ценностей: национального достоинства, национальной гордости, патриотизма. Впрочем, это настолько очевидно, что, вероятно, не нуждается в подтверждении.

Я горжусь, что Грузия подарила человечеству Шота Руставели, Николоза Бараташвили, Важа Пшавела. И для меня Лев Толстой — грузинский писатель, более того — представитель социалистического реализма. Это не шутка. Просто я считаю, что всякого рода ярлыки, вообще внешняя сторона явления — вещь второстепенная. Толстой, Руставели, Важа Пшавела, Пушкин, Достоевский, Чехов, другие **настоящие** писатели принадлежат не только России или Грузии, но одновременно и России, и Грузии, и всему человечеству. Ибо они в процессе мышления и художественного воспроизведения жизни, ее воплощения в образы оперируют категориями общечеловеческими — хотя и пользуются для этого национальными по форме средствами. Любовь всегда любовь, и страх всегда страх, и счастье всегда счастье, и страдание всегда страдание,

и ненависть всегда ненависть. Конечно, если они подлинные, но ведь величие большого художника именно в том и заключается, что его герои подлинны, что они несут в себе истинные, а не поддельные человеческие страсти. Лев Толстой близок мне — грузину, ибо он писал о вещах, которые близки и волнуют меня так же, как в эпоху жизни великого русского писателя волновали Пьера Безухова или Андрея Болконского. Поэтому и в этом смысле я назвал его грузинским писателем. И в таком же смысле он для меня представитель социалистического реализма. Есть ведь ценности, не увядающие с течением времени, а разве высшая из них — гуманизм, составляющий основу основ, сердцевину соцреализма, — не была в превосходной степени присуща Толстому — человеку и художнику? Все это и есть компоненты моего интернационалистского мироощущения.

Еще об одном хочется непременно сказать. Образование Союза ССР как политического, государственного, экономического, хозяйственного, социального единства привело к весьма важному результату: оно сблизило сотни миллионов людей, живущих на огромной территории, — представителей пятнадцати республик, в которых объединено множество национальностей и народностей. Такое сближение открыло новые, тоже беспрецедентные, возможности для развития национальных культур, их взаимного обогащения. И связующим звеном, надежным мостом между ними стал русский язык. Не буду воспевать его достоинств — вряд ли сделаю это лучше, чем делали до меня. Скажу только: не может каждый представитель каждого народа и народности выучить все языки, на которых говорят в нашем огромном государстве. Легче всем выучить один язык, и русский стал именно таким языком... Выступая в Останкино по телевидению, я сказал, что учился говорить по-русски во дворе, где рос. Здесь важен не сам по себе «исторический» факт, что Нодар Думбадзе научился русскому у своих соседей по двору. Речь идет об одной из самых характерных черт Тбилиси — его интернациональности и интерна-

---

Закон человечности.

ционализме. Ибо город являет собою живой организм, а в организме нет ничего лишнего — все нужно. Не представляю себе Тбилиси без негрузин, неважно к какой национальности они относятся. Изымите, уберите любую — и наш город станет совсем другим. Думаю, беднее станет... Нужно ли говорить, что тбилисцы всегда отлично уживались друг с другом, и этим, пожалуй, есть больше оснований гордиться, чем гордимся мы красотой, своеобразием нашего в самом деле теплого и солнечного города... Закончу тем же, с чего начал: любой народ рождает и гениев, и разрушителей, и героев, и негодяев. Так что национальность тут ни при чем.

— Нодар Владимирович, в финале «Закона вечности» Бачана говорит: «Душа человека во сто крат тяжелее его тела... Она настолько тяжела, что один человек не в силах нести ее... И потому мы, люди, пока живы, должны стараться помочь друг другу, стараться обессмертить души друг друга...» Простите, что вырываю фразы из контекста, но ведь даже если процитировать главу полностью, мысль все равно останется недосказанной. Хотелось напомнить читателю квинтэссенцию... Итак, это говорит герой книги. А как сформулировал бы ту же мысль ее автор не в художественном произведении, а просто в беседе?

— Вы правы: даже если полностью привести главу, это не спасет положения. Потому и был написан целый роман, хотя и в нем, разумеется, не удалось сказать все, что хотелось. И, кстати, слава богу, что не удалось, значит, осталось еще, о чем говорить... Закон же вечности «просто в беседе» сформулировал бы примерно так: человека и его душу можно сравнить со скрипкой и футляром. Применительно к физике, последний значительно тяжелее первой. Но ведь главная нагрузка приходится на скрипку, именно она играет ведущую роль. Здесь и начинаются «разночтения». Для одних скрипка — это Страдивариус и Паганини. Для других — конский волос (смычок) и бараньи жилы (струны). Прошу извинить: сравнение не слишком изящное. Зато точное. Понимаете, в скрипке должен «сидеть» Паганини — и тогда она оживет и зазвучит, как живая душа. Закон вечности — если мне будет дозволено так сказать, — это учение о человеческой душе и о том, как сохранить ей жизнь. Я имею в виду нас-

тоящую — большую, добрую, мудрую душу. Ту, без которой нет человека, а есть лишь его физическая оболочка, кости, мышцы... Короче, все тот же футляр. Великолепно выразился на этот счет Гете: открывающему новое нужно счастье, изобретателю — мозг, но ни тому, ни другому не обойтись без души.

И еще одно говорит Бачана: человек должен хоть раз в жизни перенести тяжелую болезнь. Моему герою болезнь помогла открыть закон вечности. Поскольку же Бачану сотворил я, автор, то позвольте не ему, а мне предъявить права на это открытие. Подчеркиваю: **не изобретение — открытие.** Как закон всемирного тяготения благополучно существовал всегда и ему, этому закону, было совершенно безразлично, откроет его когда-нибудь Ньютон или не откроет, а люди, ничего не подозревая, исправно ему подчинялись и успешно его использовали, так был всегда и закон вечности. Он не дитя второй половины двадцатого века, а ровесник человечества, родившийся вместе с Адамом и Евой. Мы с Бачаной Рамишвили не создавали его и не выдумывали — лишь обнаружили для себя. Руставели, произнося свое бессмертное «Лучше смерть, но смерть со славой, чем бесславных дней позор!», не изобретал нового критерия в отношении человека к жизни, он только нашел для него блестящую художественную формулу. Грузины (и не одни грузины), наши предки, жили по такому закону и до «Вепхисткаосани». Иначе бы они не выжили.

«Закон вечности» — не единственная приемлемая формулировка для того, что утверждается в романе, однако самая, по-моему, всеобъемлющая, самая емкая. Она подразумевает и любовь к ближнему, и уважение к нему, и принципиальность в нашем, коммунистическом, толковании слова, и способность к самопожертвованию во имя того, во что веришь, и самую обыкновенную, но вместе с тем так высоко ценимую нами человечность... В общем, все, чем жив Человек.

Однако я, кажется, становлюсь на скользкий путь толкователя идеи своего собственного произведения. Надеюсь, необходимости в этом нет, надеюсь, чело-

---

Закон человечности.

век, прочитавший книгу, сам во всем разберется... Добавил бы все-таки следующее: закон вечности — это многосложное единство. Как, скажем, струны чонгури. Удалите одну — и остальные тоже перестанут звучать, потому что погибнет **ансамбль.** Закон вечности можно сравнить с цепью, которую невозможно разорвать, из которой нельзя удалить ни одного звена. Я верю, что он существовал всегда.

— Вы произнесли в свое время такую фразу: верю своему герою, с чистой совестью поручил бы ему выполнение моей доли пятилетки... Не сомневаюсь, что Вы и сейчас с полной убежденностью повторили бы эти слова. Но время предъявляет новые требования гражданину, члену общества развитого социализма, и, следовательно, Вашим героям тоже. Какие из них можно назвать сегодня главными?

— **Добросовестность** — в самом широком и глубоком смысле. Добросовестность и честность в отношении к обществу, окружающим, к порученному делу, взятым на себя обязательствам перед другими людьми. **Деловитость,** способность трезво оценивать самого себя, свои способности, деловые качества, профессиональную подготовленность, возможности вообще. Эти, в общем-то не новые, требования обретают особую актуальность сейчас, на нынешнем этапе коммунистического строительства. Перед нашим обществом поставлена сложная, ответственная задача — мы должны воплотить в жизнь Продовольственную программу, одобренную майским (1982 г.) Пленумом ЦК КПСС. Известно, какие высокие рубежи предстоит взять за период до 1990 года и тем самым внести достойный вклад в общее дело труженикам Советской Грузии. Работа в этом направлении станет строгим экзаменом для каждого из нас. Продовольственная программа — забота всенародная. Таков девиз нашей партии, и, следовательно, такова наша, писательская, установка. Писатель, художник вообще не выращивает виноград, не пашет землю, не ухаживает за коровами. Но вместе с тем он и пашет, и сеет, и — в меру своего таланта и сил — снимает урожай... Николай Островский и Владимир Маяковский не участвовали в Великой Отечественной войне, однако сделали для победы не меньше,

чем целые дивизии. Наш «урожай» —это воспитание в человеке Человека.

Есть люди — мне, к сожалению, довольно часто приходилось с ними сталкиваться, — которые ни за что не откажутся от лестного для их самолюбия предложения занять ту или иную должность, тот или иной пост. Слишком многие убеждены, что способны **руководить.** Чем именно — подчас вообще не имеет для них значения. Потом получается сплошь и рядом такое... Иной раз вдесятером не разгрести дров, которые один такой «деятель» наломать ухитрится. Наломает, снимут его с руководящего поста — он ходит и жалуется: зажимали, мол, не давали развернуться... Неправду говорит! Подобные люди обычно заранее знают, что не за свое дело берутся, да не могут найти в себе силы вовремя откровенно сказать: не для меня это, не справлюсь... Какие мотивы этими людьми движут — понятно. Тут и так называемые «престижные» соображения, и этакая приятная «щекотка» по самолюбию, наконец стремление к материальному достатку, желание хорошо жить. Вполне естественное стремление, ничего в нем плохого нет, каждому хочется иметь вещи, которые ему нравятся, и когда-нибудь так и будет, коммунизм, между прочим, строится и ради этого тоже. Один лишь вопрос: каким именно путем обеспечить себе хорошую жизнь? Браться не за свое дело, заранее зная, что провалишь его, с точки зрения Уголовного кодекса — еще не воровство. По существу же порой хуже воровства. В сельском хозяйстве, например, и сегодня есть руководители, мечтающие, чтобы град выпал, наводнение случилось... Не верится? Придется поверить — сам таких встречал. Их на первый взгляд дикое, противоестественное желание объясняется легко и просто. Непогода все спишет, стихийное бедствие все прикроет: и организаторскую бледную немочь, и отсутствие профессиональной подготовки, необходимых специальных знаний, и порожденные некомпетентностью руководителя промахи, грубые ошибки. Мой одноклассник мечтал: «Хоть бы война началась! Тогда в армию заберут, и в школу ходить не при-

---

Закон человечности.

дется...» Так ведь он был мальчишка, к тому же глупый, а здесь — люди солидные, взрослые, прекрасно разбирающиеся, что к чему. Вот и тянется порочная цепочка: от недобросовестности к безответственности, от нее — к нечестности, и дальше уже к прямой, законченной подлости.

Как-то мне рассказали совершенно уже безобразный случай — товарищ мой ехал в междугородном автобусе и невольно подслушал чужой разговор. Была тогда большая засуха. Настолько жестокая, что в кахетинские районы воду цистернами из Тбилиси возили. И один тип в этом автобусе решил поделиться с соседом заветным своим желанием. «Повезло мне, — говорит, — вода на вес золота стала. Я на цистерне водителем работаю и, понятно, водичку понемножку налево пускаю — кто там высчитает, сколько ее в дороге расплескалось?.. Если еще недели две-три дождя не будет, то в самый раз на «Волгу» деньжат скоплю».

Что тут можно сказать? Только выругаться. Но ругаться в печати нельзя, а ничего другого мне, когда с такими вещами встречаюсь, в голову не приходит. Ясное дело, то, о чем я рассказал, явление редкое, исключительное, в подобное даже поверить трудно. Тем не менее разве далеко ушли от негодяя, открыто себя разоблачившего, те, кто берется за непосильное дело, заранее зная, что оно им не по зубам? Как ни печально, в принципе здесь одно: пренебрежение к интересам общества, государства, людей, среди которых живешь. К тому же неизвестно еще, кто больше вреда приносит — бесчестный стяжатель-одиночка или безответственный руководитель. Его когда-нибудь непременно снимут за несоответствие должности, но сколько он народных рублей успеет пустить по ветру?.. Я вот говорил о требованиях, которые предъявляет сегодняшний день республики, всей страны человеку, гражданину, труженику и, следовательно, литературному герою нашего времени. Рассказал же, по сути, об антигерое, о бесконечно чуждых нам проявлениях человеческой натуры. Надеюсь, все-таки высказался достаточно определенно?

— **Вполне определенно, и если сейчас последует вопрос о теме № 1 в Вашем творчестве, то ведь он не переведет нашу беседу в другое русло?**

— Только продолжит ее основную линию. Дело в том, что темой № 1 для меня всегда было, остается и, верно, останется в дальнейшем духовное, гражданское формирование молодого советского человека — его возмужание, превращение в активного, зрелого, преданного идее члена общества, строящего коммунизм. Не знаю, хорошо или плохо, но в этом аспекте герой у меня один во всех книгах, начиная с «Я, бабушка, Илико и Илларион», через «Белые флаги» и кончая последним (надеюсь, **пока** последним) романом. Само собой, герой значительно эволюционировал, набрался жизненного опыта, повзрослел, научился глубже анализировать и правильнее оценивать окружающее, собственные поступки, мысли, отношение к людям и вещам. Он прошел в самом деле суровую школу жизни — и сиротство, и службу в армии, и встречи с неоправданной жестокостью, и разочарование, и страх, и боль... Думаю, все это закалило (но не ожесточило!), укрепило (но не сделало черствой!) его душу. Легко сказать: «Не бойся, мама!». Приятно услышать: «Вам искусственное сердце не подойдет... С искусственным сердцем вы жить не будете...» Трудно заслужить это. Надеюсь, мой герой это заслужил. Так или иначе, я по-прежнему в него верю и, как раньше, убежден: он уже не сможет стать прохвостом, потому что слишком много увидел, пережил и понял. Кроме того, переродиться, потерять себя ему не позволит мир, в котором он живет.

— **Вы возглавляете республиканскую организацию писателей — должность ответственная и беспокойная, Вы депутат Верховного Совета СССР, член ЦК Компартии Грузии. Наверное, постоянно к тому же избираетесь в разного рода комиссии и т. п. Не мешает ли все это писательскому труду? А заодно — традиционный вопрос о творческих планах...**

Закон человечности.

— Я не считаю, что писатель должен заниматься «чисто» творческой работой, быть «свободным» от всего остального. По-моему, подобная свобода почти идентична отстраненности, отрешенности от повседневной жизни общества. В конце концов Бараташвили и Илья Чавчавадзе состояли на государственной службе, Гете — тоже, Грибоедов был дипломатом, Чехов — врачом, все известные писатели отдавали много сил общественной деятельности... Не сделаю никакого открытия, заявив, что писатель, тем более советский писатель, не может работать в изоляции от будней своего народа, республики, страны. Он должен бывать на заводах, на фермах, встречаться со школьниками, студентами, учеными, рабочими, представителями самых разных социальных слоев населения. Но вот приезжать на колхозное поле и виноградник, на промышленное предприятие и в воинскую часть ему следует не в качестве гостя. Писатель **везде** обязан уметь стать своим человеком — **своим среди своих.** Однажды в составе бригады наших литераторов я побывал на животноводческой ферме. Поездка была организована на самом высоком уровне. Нас сопровождали товарищи из Министерства сельского хозяйства, в районе о нашем приезде были предупреждены и встретили очень гостеприимно. Мы ходили по коровникам, беседовали с доярками, зоотехниками, бригадирами. Я узнал много интересного. Даже рискнул, как человек, окончивший экономический факультет с сельскохозяйственным уклоном, высказать несколько замечаний с позиций «специалиста»... Потом один из местных работников отвел меня в сторону и конфиденциально спросил: «Ваша комиссия — она из какого министерства?». Ясно, я поспешил объяснить, что никакая мы не комиссия, что просто писатели знакомятся «с трудом и бытом животноводов, их нуждами и заботами». Мне было стыдно: так ненатурально, выспренне это прозвучало. А тут еще встретился взглядом с грустными, многотерпеливыми глазами коровы — и будто прочитал в них: «Пожалуйста, приезжайте к нам каждый день! Так хорошо сегодня: все мы вычищены, сыты, а в яслях еще вон какая охапка свежего сена лежит...» — и совсем тошно стало. А когда работал над романом «Не бойся, мама!», то жил как все офицеры, выполнял обязанно-

сти замполита заставы, ходил в наряды, проводил политбеседы... Через неделю один солдат раскрыл мое инкогнито — видел раньше по телевизору. Ничего не изменилось, так как я успел уже стать на заставе своим. Удачно сложилось и в Ткварчели, где я работал шахтером, а потом написал «Я вижу солнце». В этом романе есть собрание колхозников, которое почти целиком «списано» с шахтерского собрания.

Сейчас в забой спускаться, пожалуй, поздно и в «секрете» лежать тоже... Но я не жалуюсь. Получаю множество писем — как писатель, как член ЦК, как депутат. Приятно, если тебя хвалят и благодарят за книгу. Еще приятнее, когда можешь помочь человеку в беде. Подобных писем много, и в принципе все звучат примерно так: «Вы такому-то помогли. Помогите и мне...» Я стараюсь это делать. Ведь такова одна из первых заповедей закона вечности. А коль скоро открыть его посчастливилось именно моему герою, то я не считаю себя вправе отказывать людям, которые на меня надеются и мне верят. К тому же такой труд оплачивается по высшим ставкам: все больше приоткрывается завеса над самой большой из всех тайн на свете — тайной человеческой души.

Работаю сейчас над новой повестью. Она задумана в двойном плане — ретроспективном, и вместе с тем, как обычно, это будет рассказ о современности. Но пока не пишу, пока — думаю над повестью... Тоже как обычно.

Беседу вел Владимир ОСИНСКИЙ

Шота НИШНИАНИДЗЕ

ХВАЛА ВОЙСКУ НАШЕМУ — ГРУЗИНСКОМУ ВИНОГРАДНИКУ

I.

Когда-то укрылись в горах, как возмездье,
И лозы хмельные, и травы лесные,
Церквушки и храмы собрали их вместе,
Валы крепостные и камни родные.

И эллинам бравым, и римлянам ратным,
И всем гренадерам, и всем янычарам
Сравниться ли с войском грузин виноградным,
С блестящим его стратегическим даром?

И всем крестоносцам, и всем мушкетерам,
И лютым в бою мамелюкам, казакам
Наш меч виноградный над горным простором
Сверкает на зависть — да кукиш вам с маком!

Моя горемычная древность, скорее
Свой хлеб накроши в эту кровь винограда —
Пусть мальчики наши мужают и зреют,
Могучие, как на Алгети, волчата.

Твои виноградники в лиственных гущах
Ни персу, ни турку пускай и не снятся!
Не видеть им спины грузинов бегущих
И слезы твои, чтоб над ними смеяться!

II.

Эй, хвала народная
Войску виноградному,
Войску иберийскому,
Винограду ратному!

Перевоплотившимся
В лозы негасимые —
Слава душам рыцарским,
Слава и спасибо им!

Во грузинском воинстве,
В нашем винограднике —
Сила ваша буйная,
Рыцари и ратники!

Капище язычников,
Синяя громада, —
Славлю войско Грузии,
Войско винограда!

III.

Родина, чьи таланты и доблести знамениты!
Вечно тебе не хватало войск для своей защиты,
Но даже в дни поражений победа была за тобою:
Великая Рать Винограда спасала тебя от разбоя;

Великая Рать Винограда кормила, поила, лечила,
Живучей лозой извивалась твоя кровеносная жила!
Боже, умножь грузинам Великую Рать Винограда,
Войско это умножь, — другого нам и не надо.

Кто у меня попросит хлеба — тот гость мой
личный,
С ним преломлю я в доме хлеб золотой
пшеничный.
Кто у меня попросит мяса — так на здоровье! —
Жареного фазана я для него сготовлю.

Если он пить попросит — дам я вино в бокале,
Дам я богов напиток — чтобы глаза сверкали.
Но если мою попросит он женщину — будет плохо! —
Убью, несмотря на то, что осудит меня эпоха.

«О вино! Ты, о чадо чачи, без огня бурлящее здорово!
Умный станет с тобой веселым, а дурак потеряет голову».
И пока молодое, сладкое, ты — игривое, ты — некрепкое:
Сладость — легкая, горечь — мудрая,
Легкость — сладкая, мудрость — терпкая...

О веселое ты, мачари! На тебя нападает буйство,
Страсть крушить и крошить, ликуя в ритме грохота, рева, хруста!
Это буйство — от сладкой жизни, а когда заведется горечь...
Ты уймешься, за ум возьмешься, свой таинственный путь ускоришь.

Ты утешь по пути беднягу, сердцу робкому дай отвагу,
Сделай дряхлого — пободрее, сделай жадного — пощедрее,
Мне — завистника сделай другом,
Хоть на миг... за столом, за круглым.

Жадный — мерзость нальет в кувшины.
О больном говорят грузины:
«Не до пира», «укеипоба»...
Рог осушишь — и сгинет злоба,
Станешь воздухом, станешь светом,
Овном жертвенным, если надо,
Войску славному винограда.

IV.

Камни на могилах зеленью одело,
Крепости и храма каменное тело,
На крылатых арках в небеса взлетела
И грустишь над нами, как святая дева, —

Будь благословенна, Лоза животворящая,
Вскормленная Грузией, Грузию кормящая!

Вьешь свои побеги в песне-криманчули,
В хоре и в узоре, в танце и в разгуле.
Будь благословенна, обнимая колья,
Облака и стены, храмы, колокольни!

Будь благословенно каждое колено
Твоего потомства, чья душа нетленна!
Будь благословенна, Лоза животворящая,
Вскормленная Грузией, Грузию кормящая!

V.

Так звени же кольчугой своей виноградной,
Виноградная родина, рыцарь громадный, —
Раз господь даровал тебе, о Сакартвело,
Виноградные латы для ратного дела.

Солнце — меч золотой — ты держи под рукою!
Я созвал виноградное войско мужское,

Виноградная Рать велика, и не счесть —
Сколько рыцарей чтут виноградную честь!

Раз господь даровал тебе, о Сакартвело,
И застолье, и гостя для ратного дела, —

Так звени же кольчугой своей виноградной,
Виноградная родина, рыцарь громадный!

БАЛЛАДА О МИСТИЧЕСКОМ ЩЕНКЕ

Я подобрал его грязным, но милым,
Около рынка, где пыль из-под ног.
Долго под краном стирал его с мылом,
Словно косматого облака клок.

Чтобы как братья мы стали похожи
Внешностью, нравом, хотя бы судьбой, —
Оба смешные мы корчили рожи,
Оба визжали наперебой,

Умный щенок притворялся ребенком,
Я притворялся, конечно, щенком,
Чтобы в заливистом замысле звонком
Стали мы братьями с этим зверьком.

Но заболел я, и тихо сгорая
В липкой жаре, в паутине огня,
Слышал — мой цуцык, душа мне родная,
В небо скулит, обнимая меня.

Выл в небеса он и жалобно плакал,
Грозному ангелу крылья лизал:
«Вместо ребенка возьми меня, ангел!..»
Сжалился ангел и цуцыка взял.

Чудом в живых я остался на свете.
Звон колокольный качал облака.
Но под кроватью моей на рассвете
Мертвым нашли ледяного щенка.

Ради любви, по вине моей жизни
Выплакал душу несчастный щенок,
Слезным дождем на прощание брызнув,
Словно косматого облака клок...

Мистика эта, загадочный случай,
Необъяснимая, тайная вещь
В память вонзились, как жгучий, грызучий
В бедного цуцыка впившийся клещ.

И в небесах, моросящих тоскою,
Каждый косматый клочок в вышине
Плачет щенком и скулит над землею,
Словно мой цуцык скулит обо мне.

Может, скулит он о детстве щенячьем,
Где кувырканья, и визги, и лай...
Может, земля, по которой мы скачем,
Это — щеночком потерянный рай...

Как-то прочли мне по гуще кофейной:
«Бедный щенок этот был не щенком!
Ангел-хранитель, твой дух благовейный,
С неба явился в обличье таком!»

Тот, кто из вас попадет, умирая,
В рай, где парит он у врат золотых,
Будет им встречен и обнят у рая,
Где утирает он слезы святых.

Если он ждет меня в тайной надежде,
Не огорчайте напрасно его,
Этим приветом хотя бы утешьте
Неба созданье, любви существо.

Перевод Юнны МОРИЦ

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОН КИХОТА В ВЕРХНЮЮ ИМЕРЕТИЮ

В рассветной Имеретии —
Чудесная картина.
Там Дон Кихот в берете
Возник в дыму камина.

Совсем здесь на Испанию
Похоже: вива! вива!
И радость и страдание
Здесь одного пошиба.

Ламанча, ваша, ваша!
И вива, Симонети!
Ведь ты, Ламанча, наша
И на одном мы свете!

И радость машет крыльями,
И сердцу легок груз ее,
Ламанча клдиашвилева,
Сервантесова Грузия!

И гордо вскинув голову,
Здесь кукуруза высится,
На ней чоха оборвана,
Как у дружков напившихся.

Там, в родственной Басконии,
Есть тоже кряжи гордые,
Сшибаются там скорые
Ручьи, как козы горные.

Вы, близкие по храбрости,
По вежеству и щедрости,
По красоте и сладости
Полей с тугими стеблями.

Здесь в огневом размахе
Зари на бездорожьях
Бушуют морем маки,
Нося коровок божьих.

Луга? — Перепелами.
Кустарник? — Куропатками.
Как в золоченой раме
Мечтанья какабадзевы.

Ночь входит вслед закату —
За краски возмещение,
Словно чоха в заплатах
Дворянчика осеннего.

Летают слепней своры
Над Россинантом хмурым,
Как будто кредиторы
Над бедным азнауром.

В рассветной Имеретии —
Чудесная картина.
Там Россинанта встретили,
Сошедшего с камина.

Звучит над горной далью
Язык баско-грузинский.
На голове идальго —
Башлык имеретинский.

ТЕВДОРЕ

В 1609 году турецкие войска, перешедшие через Триалетские горы, повстречались с монахом Тевдоре и приказали ему быть их проводником. Тевдоре завел неприятеля в засаду. Турецкие захватчики саблями зарубили монаха. Грузинское же войско, выиграв время, напало на врага и одержало победу под деревней Квишхети.

В триалетском лесу, пока день длится, —
— Тевдоре!
— Тевдоре!
Плачется птица.
Думаете — птица, а ведь это душа живая.
— Живая душа, почему не витаешь в пределах рая?

В детстве была олененком, паслась на Триалети,
Из оленихи белой пила, ловила форель в Алгети.
Крест осенял ее шею — вселенских миров владыка,
Святой была и беседы вела
Близ божьего лика.

Молилась, когда виноград блюла на склонах ложбины,
Птицы, что кружились над ней, были божьи херувимы.

Ведома им, божьим чадам, каждой души дорога:
Кто погибнет за родину или за господа бога.

Потому и служили ей — душе монаха святого,
Умным волам помогали во время труда дневного.
Год тыща шестьсот девятый, как беглый конь, бил копытом,
С гор на горы скакал, не подчиняясь джигитам.
Молился монах святой... Слышал небесные звоны...
К Триалети враг подошел. Прогнулись горные склоны.

Картлийский виноградник,
Грузинский крест —

Турецкий полумесяц
Свистит ятаганом окрест.

И холм стал колючий, как еж, от вражьих клинков
и копий,
Строй чалмоносцев похож на Смертельной
грамоты строки.

Грозится султан строчками хартий,
Как грамота Смерти, свивается Картли.

Искромсаны саблями радуги и зори фазаньи,
Их, как парчу, примеряют в Мисре и Исфагани.

. . . . . .

Ты — виноградник погубленный,
Воля Мессии свершенная,
Молнией храм обугленный,
Божье гнездо разоренное.

Ты — пенье замолкшее, отче,
Свеча отгоревшая, отче,
Огнем добра ты был, отче,
Ты сделался пеплом ночи.

Сказка... Наполовину сон.
В жертву за грузин, Лев, ты принесен.
Агнец, ты — жертва Христова.
Кровь ли это хлынула из тела святого,
Или утренняя заря взорвалась в ночном приделе.
— Осанна!
— Осанна!
Это ангелы прилетели.
Лоскуты рясы уносят с собой, как талисманы,
В пенье тебя облачили, в легенды, в пеаны.

Если нужно, против врага и предателя миф
обратится,
Твой крест золотой — от гнезда улетевшая птица.
А душа, она у тебя цвета кровавого кизила,

Стала языком колоколов и в колоколах
заговорила.
Победное знамя Картли на горе, врагам оно на
горе.

— Тевдоре!
— Тевдоре!
Что за сила таким могучим тебя сотворила,
Чтоб и в грядущем душа твоя много раз
говорила.

Тевдоре!
Тевдоре!
Нам нужен такой провожатый!
Тебя из легенды народ призовет, боец и оратай.
. . . . . .
В горах на пандури гремят — слышно кафию
громкую!
И молнии пишут тебе надпись надгробную.

Перевод Давида САМОЙЛОВА

ПАНТОМИМА

С блеском, с печалью своей,
О пантомима,
Ты от сознанья людей
Неотделима.

Длится в мире издревле
Пантомима теней,
Пантомима деревьев,
Пантомима дождей.

Может быть, там из земли
Тянутся руки мима,
Может, ростки конопли —
И это — пантомима.

Миму сродни самолет —
Кружит, крылами играя,
Словно зовет и ведет
Смертных к воротам рая.

Кренится высота,
Плавно земли круженье.
Может, земля нанята
Только для представленья.

Ты оглядись и пойми:
То, что проходит мимо
Меж вечностью и людьми —
Все это пантомима.

Гибкой лозе суждено
Виться молча, но зримо.
Если забыть про вино,
То и лоза — пантомима.

Люди, мы странный народ,
С былью мешаем сказки,
Вечен людской хоровод,
И карнавал, и маски.

Сам я вживаюсь в роль:
Вот женщина, что любима,
Уходит. Подлинна лишь боль,
А прочее — пантомима.

Жизнь — театр в глуши.
Мир наш — всего лишь подмостки.
Актеры не все хороши,
Но декорации броски.

Занавес.
Очередь у гардероба,
И, выражая не лесть,
А только любовь до гроба,
Беру номерок начальника, чтобы
Пальтишко ему принесть.
Тише! Тише! Идет пантомима.
Я тоже действую
В качестве мима.

МОЦАРТА ПРИЗВАЛИ НА ВОЙНУ

Моцарта призвали на войну,
И остался Гайдн обездолен,
Не обрел учителя Бетховен.

Моцарта призвали на войну.
Лишь одна в соседнем доме
Проливала слезу, припав к окну.

Новобранец, он пошел в поход
В достославном королевском войске,
И ружье — анафемский фагот —
Он держал совсем не по-геройски.
Но весною ночи напролет
Слушал он, как соловей поет,
И дрозду подсвистывал по-свойски.

Моцарт шел, как воины идут,
Спотыкался на дорогах бранных,
Где кресты железные дают,
Но гораздо больше деревянных.

Рекрут Вольфганг Моцарт шел вперед.
И в мажоре надрывались пушки,
Ноты трудные вели кукушки,
Видевшие множество невзгод.

И во время славных наступлений,
Музыкант, он слышал звук сонат.
Ах, маэстро, вы всего лишь гений,
Может, потому плохой солдат.

Думал он о ратной славе мало,
В карауле он дремал, бывало,
Или трогал мысленно струну,
В чем и усмотрел его вину
Приговор суда иль трибунала,
Короля, магистра, генерала
Или что еще там было в старину.

Слишком быстро совершилось дело:
Грянул залп, померкнул белый свет.
Мальчик, он лежал после расстрела,
Словно продырявленный кларнет.

И сегодня, через двести лет,
Мы не слушаем его токкаты,
Не были сочинены сонаты.

Мы не плачем в сладком их плену,
Потому что в некий день когда-то
Моцарта призвали на войну.

Перевод Наума ГРЕБНЕВА

АПОЛОГИЯ ЦВЕТНОГО ВОЗДУШНОГО ШАРИКА

Я в сквере... Жара, вытянув шею,
Жирафом обнюхивает балкон,
Цветы в горшочках цветут, хорошея,
Жара их сушит со всех сторон.

Дети кричат, каждый — свое,
Слышится, как говорит мальчик:
— Папочка мне привезет ружье,
И в цирк поведет, и купит мячик.

Слышится в этом — детское, гордое.
Другой мальчик — веснушек накрапы.
У этого папа в другом городе,
И он давно уж чужой папа.

Солнце горит на воздушных шариках.
В них повторяются крыши эти,
Эти улицы с их шарканьем,
Как повторяемся мы на портрете.

Цветная игрушка мальчонке бесценна.
Джинсы на нем, рубашонка хаки.
А ночью будет он спать блаженно
На сновидений архипелаге.

Дети играют в войну, — солдаты.
Гомон, крики, галоп, припрыжка.
У всех мальчиков — автоматы,
У этого — старенькое ружьишко.

Роют туннель с двух сторон наудачу,
Строят крепость — стена к стене.
Играя, его нагружают, как клячу,
Кладь заставляют нести на спине.

— Давай, тяни, малыш, не робея,
Терпи, сынок, отправляясь в путь.
Завтра легче будет для шеи
Жребий жизни своей тянуть.

Воспринимай судьбу как даянье,
Благослови тяжелый свой день.
Солнце для всех детей — сиянье,
А для него — дающее тень.

В цветных шарах отражается небо,
Кривые улочки, отблески дня.
Как кинолента, как некая небыль,
Как детская озорная мазня.

Стоит мальчишка, смотрит в оконце,
Мечтает, впивая полуденный жар.
Пальцы разжал и выпустил солнце,
Этот багряный воздушный шар.

Перевод Льва ОЗЕРОВА

РАДОСТЬ

Перекатил я камень с боку на бок,
И ржавая бермухская трава,
Позевывая, встала. Хлынул запах
Лесов и ливней... Осень вновь жива.

Весь день душа светла, и в ту лощину
Я в мыслях возвращаюсь... Жизнь жива.
А я всего лишь камень с места сдвинул —
И выпрямилась желтая трава.

Перевод Михаила СИНЕЛЬНИКОВА

МАСКИ

Чтоб чья-то жадность от меня отстала,
Чтоб скрыть от всех, что я не всемогущ,
Я прикрываюсь масками устало,
Как прикрывает пропасть хитрый плющ.
Я даже не гнушаюсь маской скряги
И надеваю маску бедняка,
Чтоб на чужом лице, как на бумаге,
Прочесть всю откровенность дневника.

Я вынужден быть даже беззастенчив,
Чтоб испытать всех, кто подобен мне,
Чтоб верность и друзей моих и женщин
Предстала в их доподлинной цене.

То я — дурак, играя с умным в прятки,
То притворяюсь слабой жертвой зла,

Чтобы узнать — есть рыцарство ли вправду
В красноречивых рыцарях стола.

Умею я сыграть злодея тонко,
И это ощущаю, словно долг,
Чтобы спасти в душе своей ребенка,
Который беззащитен, ибо добр.

Ворчу я на тебя, с тобою ссорюсь
Лишь потому, любимая моя,
Чтоб ощутить любовь твою, как совесть,
Как главное мое, второе «я».

У масок всех один изготовитель,
И я его без маски свято чту.
Оберегает он, как покровитель,
Мою и глубину и высоту.

Я потому меняю маски часто —
Пусть будут вечно прокляты они! —
Чтобы хранить и в счастье и в несчастье
Свое лицо в защитной их тени.

Когда, шепнув мне, что спасенье рядом,
Ночь меня примет в темноту свою, —
Сняв маски все, я их окину взглядом,
Как шлемы, побывавшие в бою.

Перевод Евгения ЕВТУШЕНКО

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЭПИТАФИЯ

Памяти погибших в Керченских катакомбах

I

Когда была ранена Родина-мать, мы ноше
подставили плечи,
И был замурован наш подвиг живьем, наш сон
катакомбами Керчи.
Туда, в подземелье, где нас ожидал лишь мрак
преисподней, живыми,
По собственной воле и долгу живых своими
ногами сошли мы.
И суша, и море горели огнем, и тучи с дымами
мешались.
А мы и в могиле боролись с врагом, мы, братья,
и в пекле сражались.

Мы вплавились в камни. Мы камни теперь.
Мы черные камни свободы.
А раны и в камне, как звезды, храним, как звезды
кремнистой породы.
Эй, мастер, удара резца твоего достаточно нам —
только вспомни! —
Чтоб искрами выскочить с криком «Ура»
из дьявольской каменоломни.
Узнайте и вы наверху, на земле, живя для иного
удела,
Что даже в земле мы не просто живем, но бьемся
за общее дело!

II

Приписка автора

За Родину меч в бою преломивший да будет
благословен.
За Родину слезы и кровь проливший да будет
благословен.
Благословенны слово и дело
мира, а не войны,
Вечный огонь обелисков славы, бьющий из глубины!
Может, не кончены ваши заботы, а продолжаются
там,
И шар земной спокойно вращается благодаря лишь
вам.

Перевод Олега ЧУХОНЦЕВА

НИШНИАНИДЗЕ Шота Георгиевич. Род. в 1929 г. Известный грузинский поэт, лауреат премий имени Шота Руставели (1975) и Галактиона Табидзе (1978). Автор свыше двадцати поэтических сборников, среди них широко известные грузинскому читателю книги «Солнце на острие копья», «Видения», «Эпическое эхо». Недавно издательством «Сабчота Сакартвело» выпущен однотомник «Таков этот мир».

Предлагаемые вниманию читателя стихи включены в книгу «Избранное», готовящуюся к печати в издательстве «Мерани».

Георгий ЦИЦИШВИЛИ

НЕВЕЗУЧИЙ КАПИТАН

Рассказ

Перевод Анаиды БЕСТАВАШВИЛИ

ОН СТОЯЛ передо мной навытяжку, робко глядя и смущенно улыбаясь. Его детски-наивное, открытое лицо, так хорошо мне знакомое, на этот раз не выражало ничего, кроме должного почтения к старшему по званию.

А я, растерянный до крайности, не знал, как мне быть; в первое мгновение мне хотелось броситься к старому другу, обнять, расцеловать, но его официальность несколько расхолодила и сковала меня. Не сумев сразу же радушно его встретить, я посчитал горячее приветствие теперь уже неуместным и запоздалым, и оба мы, явно обескураженные, молча смотрели друг на друга.

За время нашей разлуки капитан мало изменился. Он показался мне таким же, каким я его помнил: высокий, худой, сутулый. И хотя его каштановые волосы заметно поредели, а в облике чувствовалась какая-то усталость, голубые глаза капитана глядели на меня с прежней детской непосредственностью, не то с веселостью, не то с затаенной насмешкой.

Одет он был, как рань-

ше, небрежно. Голенища были так широки, что в каждый сапог можно было просунуть кулак. И поэтому во время ходьбы он волочил ноги и шаркал совсем не по-военному.

Несмотря на свои 25 лет, он сохранил тот же юношески-наивный облик: когда он улыбался, на розовых щеках появлялись забавные ямочки, а подбородок совсем по-мальчишески смешно морщился. Этому безбородому командиру с его отросшими бакенбардами, пухлыми алыми губами и длинной тонкой шеей на первый взгляд нельзя было дать и девятнадцати лет.

— Капитан, неужели это вы? — спросил я таким тоном, словно все еще не верил, что передо мной стоял тот самый Колосков, которого я давно и хорошо знал и который прочно запечатлелся в моей памяти с самого начала войны.

— Он самый, — спокойно и негромко ответил капитан, но тотчас спохватившись, убрал с лица улыбку и четко, по всей форме отрапортовал: — Товарищ майор, зенитная батарея тринадцатой воздушной армии находится в полной боевой готовности. Командир батареи капитан Колосков.

При этом, как полагалось, он сделал шаг в сторону, уступая мне дорогу к батарее.

Я пожал ему руку, привлек к себе и, сам того не ожидая, крепко расцеловал. Это смутило нас обоих еще больше...

Кто знает, сколько я думал об этом удивительном человеке все это время, сколько раз мечтал о встрече с ним, и вот теперь, совершенно неожиданно, он стоял передо мной и смотрел на меня, загадочно улыбаясь.

— Поздравляю, вы уже майор, — сказал он и громко засмеялся.

— А вас все еще держат в капитанах, — невольно вырвалось у меня, но я тотчас же прикусил язык, коря себя за то, что так неуклюже выразил свое удивление.

Год назад Колосков был моим непосредственным начальником. Меня тогда направили командиром батареи в тот самый артиллерийский дивизион, который скоро перешел под начало уже известного к тому времени артиллериста Колоскова.

Молниеносно пролетевшие грозные сорок первый и сорок второй годы изменили наши взаимоотношения: теперь я стал его начальником, а он — моим подчиненным. Ей-богу, это был первый случай, когда я пожалел о своем продвижении по службе, устыдившись своего же подчиненного.

Правда, это произошло не по моей и не по его «вине», но такой поворот в наших отношениях на этот раз ничего, кроме сожаления, у меня не вызвал.

Капитана Колоскова я считал идеалом артиллериста. По своим знаниям и боевому опыту он был на голову выше меня и мне подобных. Ради него солдаты готовы были, как говорится, лезть на рожон. И такого человека понизили?! Я был искренне огорчен таким поворотом в судьбе старого друга.

Не знаю, как долго я стоял, погрузившись в невеселые размышления, но, очнувшись, я как потерянный оглянулся. Сопровождавшие меня офицеры выглядели довольно озадаченными. Очевидно, они не могли понять, что случилось и что им следовало предпринять.

А Колосков продолжал смотреть на меня с прежней улыбкой. Изрядно поношенная и выгоревшая кавалерийская шинель свисала с его широких, но тощих и покатых плеч почти до пят.

Что и говорить, внешность у него была несолидная. Я с улыбкой вспомнил, как в части, где он совсем недавно был командиром, солдаты с безобидным юмором прозвали его «пожарной каланчой». «Каланча идет», «каланча приказывает», «каланча распекает». Но в этом прозвище не было ни презрения, ни насмешки, напротив, в нем таилось какое-то на редкость теплое чувство.

И вот теперь эта «каланча» — капитан, всегда восхищавший и поражавший меня своим поразительным чутьем и артиллерийским мастерством, стоял передо мной, разглядывая меня так пристально и упорно, словно хотел испытать: ну, дескать, поглядим, как будет вести себя новоиспеченный майор!

Понял я и то, что он заметно охладел ко мне. С некоторой горечью я отметил про себя, что на протяжении всего этого времени я, несомненно, вспоминал о нем чаще, чем он обо мне...

Близился к концу третий год войны.

В то время наша армия сражалась на финской территории.

Воспоминания на мгновение перенесли меня на Волховский фронт. И я вспомнил, как мы переплывали на плоту необъятный Волхов...

— Товарищ майор, вы сейчас осмотрите батарею или...

— Нет. Сначала я зайду к вам. Где вы обосновались?

— Вон в том фольверке, видите, желтые стены?

Капитан занимал в первом этаже старинного фольверка небольшую комнату с узеньким оконцем и выкрашенной черной краской дверью. На двери красовалась ржавая подкова и какие-то непонятные буквы, выжженные огнем, скорее всего инициалы бывшего владельца.

Возле окна с разноцветными стеклами стояла деревянная кровать. Вокруг покрытого клеенкой стола стояли четыре стула с высокими щербатыми спинками. Прямо напротив двери в круглой раме висело зеркало с черными пятнами отлетевшей амальгамы.

Но первое, что бросалось в глаза в этой комнате с некрашеным дощатым полом, был огромный книжный шкаф дорогого красного дерева, богато изукрашенный резным орнаментом. Граненые, словно хрусталь, стекла, блестели как алмаз, отражая свет, как только дверь открывалась.

Я удивился: откуда в этой скромной комнатушке, где, по всей видимости, когда-то жила прислуга хозяина хутора, взялся этот дорогой книжный шкаф?

Пока я был занят осмотром комнаты и мебели, капитан, как выяснилось, разглядывал меня.

Когда я обернулся к нему, взгляды наши встретились, но я не увидел на его лице той улыбки, которой меня обычно дарил Колосков. Он почему-то отвел взгляд в сторону и подчеркнуто вежливо обратился ко мне:

— Прошу, располагайтесь поудобнее.

Он неуклюже придвинул мне стул, предварительно

проведя рукой по сиденью, чтобы стереть с него пыль, и снова выпрямился.

— Если вы пожелаете переночевать на нашей батарее, эта кровать в вашем распоряжении, а водителя я устрою у старшины...

В ожидании ответа он устремил на меня не замеченный мной до этого какой-то странный настороженный взгляд.

«Как он изменился! — подумал я. — Стал каким-то недоверчивым, подозрительным. Небось думает, что я приехал его инспектировать или еще того хуже — прислан с недоброй вестью».

У капитана и в самом деле были основания для подобных подозрений: ведь не раз случалось, что на проверку воинских частей присылали именно тех, кто недолюбливал или командира части или своих бывших сослуживцев. «Они как бывшие военнослужащие части лучше знают личный состав», — оправдывали свой коварный прием сторонники таких «проверок».

Поэтому не удивительно, что у Колоскова могло зашевелиться в душе недоброе предчувствие. И несмотря на то, что это было довольно естественно, мне стало все же обидно.

— На том и порешим, — ответил я, хотя за минуту до этого у меня и в мыслях не было оставаться с ночевкой у него. Это решение пришло ко мне внезапно. Я хотел поговорить с ним с глазу на глаз, чистосердечно и доверительно, разузнать причину разительной перемены, с ним происшедшей, причину недоверчивости и подозрительности, прежде совсем ему не присущих.

— Может, осмотрим батарею? — осторожно осведомился Колосков, исподлобья поглядев на меня.

— Да нет, я ведь приехал с вами повидаться. Был тут по соседству и решил навестить старого друга...

— А где вы были? — полюбопытствовал капитан.

— В штабе вашего дивизиона.

— С проверкой? — с тем же настороженным любопытством спросил он.

Это мне тоже показалось странным — любопытным он никогда не был и, что бы ни случилось, лишних вопросов задавать не любил.

— Пожалуй, что так...

— И что же?.. Если это, разумеется, не секрет, — преодолевая смущение, продолжал расспросы Колосков.

— Никаких секретов. Будут снимать командира. Боюсь, что с масштабами дивизиона ему не справиться.

— Жалко, мужик он хороший... — вздохнул Колосков.

— Для военной службы этого недостаточно, и думаю, это даже не главное.

— Человечность — во всем главное, — твердо проговорил капитан, нахмурившись, отчего его нежное безбородое лицо стало непривычно суровым.

И мне показалось, что я наконец прозрел: «Вот, оказывается, что руководило этим отважным человеком, вот каково его моральное кредо!»

Я только сейчас понял, что его прежние поступки, удивлявшие меня безмерной любовью к товарищам по оружию, были не просто неосмысленными действиями, а верностью определенным нравственным принципам, неотъемлемой частью его личности.

У меня возникло ощущение, будто до сих пор я его вообще не знал и только сейчас постиг его суть, только сейчас увидел его во весь рост.

Но за этот год, что мы не виделись, у капитана появились какие-то новые черты: он стал жестче, недоверчивей, его прежняя искренняя непосредственность сменилась теперь искусственной, показной.

Я снова внимательно на него поглядел, как если бы встретил его впервые. Та же длинная тонкая шея, розовые щеки, голубые лучистые глаза, в которых без труда нашла себе место заметная грусть.

Белые, с длинными пальцами руки, раньше находившиеся в постоянном движении, теперь спокойно лежали на коленях. Да и сам капитан казался сейчас более спокойным, хотя несовместимой с его молодостью степенности и сдержанности ему и раньше было не занимать — в те трудные времена, когда на нас обрушивалось само небо и от шквального огня плавились камни.

— Если разрешите, я пойду отдать распоряжения и велю, чтобы несли ужин...

— Пожалуйста, — сказал я и тут же подосадовал на себя за то, что не ответил ему просто, как равный равному, а вроде бы отдал приказание.

Однако главное все-таки заключалось в том, что капитану, как видно, трудно было оставаться со мной наедине. Похоже, он не знал, как вести себя — то ли как с давним приятелем и старым знакомым, то ли как со старшим офицером.

Его неожиданная холодность сбивала меня с толку, и я никак не мог найти тот естественный товарищеский тон, который избавил бы его от демонстративного, официального почтения по отношению ко мне, столь явно им подчеркиваемого.

Как только Колосков ушел, я поднялся и подошел к книжному шкафу. Он и впрямь был на диво хорош: четыре глухих и четыре застекленных дверцы. В одной дверце торчал ключ, который я вдруг совершенно безотчетно повернул.

На средней полке лежал столь хорошо мне памятный коричневатый, видавший виды вещмешок капитана. Этот вещмешок не раз и мне служил верой и правдой: когда Колосков посылал меня в штаб дивизиона, всегда давал в дорогу вещмешок, доставшийся ему от немца. Этот нехитрый трофей удивительно ловко прилаживался к плечам, и никакой груз не казался тяжелым.

Так же безотчетно я провел рукой по знакомой вещи и сразу понял, что у капитана, как всегда, была припасена «на черный день» пара бутылок водки. Я улыбнулся: как видно, капитан не изменил своей привычке. Хотя он никогда не страдал пристрастием к спиртному, тем не менее всегда держал неприкосновенный запас, повторяя слова своего начальника: «У хорошего командира водочка всегда должна быть в запасе на случай, если вдруг маршал нагрянет!»

Я запер шкаф и сел на стул, который мне услужливо придвинул Колосков.

Вскоре явился и он в сопровождении пожилого ефрейтора, скорее всего нестроевой категории. Ефрейтор нес два котелка и изрядный кус ржаного хлеба, завернутого в салфетку не первой свежести.

Ефрейтор разлил жирный борщ по щербатым тарелкам, выложил на крышку котелка нехитрое вто-

рое — гречневую кашу с американской тушенкой и удалился так же бесшумно, как и возник.

Признаюсь, я ждал, что вот сейчас капитан достанет из заветного вещмешка пол-литра и, как бывало прежде, с доброй улыбкой скажет: «А не хлопнуть ли нам по маленькой — и для аппетита хорошо, и для настроения!». Но капитан, похоже, ничего подобного делать не собирался.

Когда ефрейтор вышел, он, не поднимая головы, пробормотал:

— Перекусим чем бог послал. Вы, наверное, привыкли к лучшей еде, но уж не обессудьте, чем богаты, тем и рады!

Он развел руками и улыбнулся, но в улыбке не было ни прежней искренности, ни прежней непосредственности.

Я сидел и невольно сравнивал двух Колосковых: одного, которого я видел сейчас, и второго, которого знал раньше. Никогда не думал, что человек может так перемениться. Мы поели без всякого удовольствия, в полном молчании.

Ну, думаю, может, хоть теперь настроение у него исправится. Но не тут-то было! Капитан хранил молчание и даже не пытался завязать беседу.

Тогда я решил, что он ждет, чтобы я первый начал, и попытался заговорить о том, о сем, но безуспешно. Он меня не поддерживал, и разговор обрывался, не успев завязаться.

Лечь на его кровать я отказался. Тогда Колосков на мгновение исчез, и тот же пожилой ефрейтор втащил в комнату железную сетку, которую установил на две табуретки и крепко перетянул сложенным вдвое телефонным проводом, сверху он постелил матрац и положил на жестковатую простыню вытертое байковое одеяло.

Так и не поговорив по душам, мы улеглись спать, словно обиженные друг на друга.

Я все еще продолжал надеяться, что в темноте у Колоскова развяжется язык — мы ведь не раз ночи напролет проводили в беседах. Но на сей раз он пожелал мне спокойной ночи и затих.

Я чувствовал, что он не спит, а лишь притворяется спящим. Я тоже не спал, но боялся лишний раз пошевелиться, ибо при каждом движении расшатанные нары-буретки скрипели как несмазанная телега.

Лежа на спине и уставясь в темноту, я думал о Колоскове.

И вся его жизнь — и та, которая прошла на моих глазах, и та, о которой он мне рассказывал сам, пронеслась перед памятью моей, как сон...

...На исходе недоброй памяти 1941-го года артиллерийский дивизион, в котором двумя батареями командовали я и старший лейтенант Колосков, был передан в распоряжение к тому времени уже прославленной Второй ударной армии.

Глубоко вклинившаяся в расположение противника эта армия сражалась на левом берегу Волхова и занимала боевые позиции в районе станции Любань. Немцы перерезали Октябрьскую железную дорогу Москва — Ленинград, и вокруг Ленинграда постепенно сжималось второе кольцо блокады.

Брошенная на прорыв Вторая ударная армия получила задание выбить немцев со станций Тосно и Любань и таким образом разорвать внешнее кольцо блокады.

В то время задача эта была неразрешимой, и операция закончилась неудачей. Недостаточно к ней подготовленные, мы понесли огромные потери и в живой силе, и в материально-технических средствах.

Артиллерийским огнем наш дивизион расчищал путь удивительно смелым и отважным передовым частям Второй ударной армии, и, естественно, первые контрудары врага мы принимали на себя.

Стояли очень тяжелые, полные риска и опасности, невероятно напряженные дни.

Батареи нашего дивизиона были расположены довольно далеко друг от друга, поэтому офицеры редко виделись. А я, как новичок, назначенный командиром батареи, других командиров и вовсе не знал.

Во время одной из бомбардировок наших позиций немцами погиб дивизионный командир — майор Бокай. Вечером того же дня я получил приказ о назначении командиром дивизиона капитана Колоскова. До

этого я никогда не видел его, но знал, что Колосков командовал третьей батареей, знал также, что вся Вторая армия считала его отважным артиллеристом.

Моя батарея глубже других продвинулась вперед, мы стояли в середине узкого перешейка, который с обеих сторон граничил с болотами. В полутора километрах от нас находились вражеские позиции. В бинокль можно было хорошо разглядеть небольшой холм, за которым окопались немцы.

Этот холм был насыпан искусственно и замаскирован мхом, ветками и травой. Сделано это было так искусно, что неопытный глаз не заметил бы в нем ничего подозрительного.

На наше счастье болотистая местность не позволяла немцам использовать танки, в противном случае они бы несомненно смяли нас.

После того как соединения Второй ударной армии прекратили наступление и перешли к так называемой «жесткой обороне», инициативу перехватил враг. Не проходило дня, чтобы немцы при активной поддержке авиации и артиллерии не атаковали нас. Иногда мы даже удивлялись, что после длительной артиллерийской и авиационной подготовки (которая длилась иногда целыми часами) только один полк шел в атаку. Видимо, немецкое командование знало о тяжелом положении наших частей. Они берегли живую силу и пускали в ход лишь авиацию и артиллерию, выжидая подходящего времени, чтобы разбить нас одним ударом.

Бесконечные диверсионные отвлекающие удары, внезапные атаки и беспрерывные бомбежки усугубляли тяжелое положение обескровленных наших частей. К этому прибавились перебои с доставкой продовольствия и трудности с боеприпасами. С тыла Вторую армию рассекал широкий Волхов, и немцы постоянно выводили из строя наши понтонные переправы или наспех наведенные мосты.

Фашистский генералитет прибег к дьявольскому тактическому приему: хотя до сих пор немцы наступали на нас постоянно в одном и том же направлении, но главный свой удар готовили совсем с другой стороны,

всего в каких-нибудь двадцати километрах от нас, как это выяснилось позже. Подготовка эта велась с величайшей тщательностью и предосторожностью.

Ранним утром поздней осени, на третий или четвертый день после того, как Колосков принял дивизион, дежурный доложил мне, что на батарею прибыл какой-то командир с двумя солдатами.

— Чего ж ты не спросил, кто они? Почему не потребовал документы? — упрекнул я дежурного.

— Да какой-то долговязый капитан в такой долгополой шинели, наверняка из матушки-пехоты, артиллеристы так не выглядят! Похож на только что вылупившегося птенца. На петлицах никаких знаков отличия — даже не разберешь толком, в каком он чине... Так-то видно, что командир, двое солдат с ним, — сбивчиво оправдывался мой сержант.

— Веди их сюда!

Я вышел из блиндажа и в ожидании гостей присел на валявшееся тут же бревно.

Вскоре появились и незваные гости — впереди шел и впрямь саженного роста верзила — он был на голову выше своих спутников, казался он еще более высоким из-за несуразно длинной шинели.

«Кто бы это мог быть?» — подумал я, глядя на совсем юного безбородого командира с пушистыми бакенбардами и толстыми, как у негра, губами, придававшими ему вид обиженного подростка. Большие голубые глаза его глядели ласково. Он улыбался как-то странно — не поймешь: насмешливо или доброжелательно. Сначала он приветствовал меня по-военному, потом протянул руку и так невнятно пробормотал «капитан Колосков», что я не сразу понял, с кем имею дело.

«Так вот каков этот новый командир дивизиона!» — с досадой подумал я. Дивизион наш был образцовой боевой частью. Он комплектовался в самом Ленинграде. И его командный и рядовой состав считался отборным. У нас такие молодцы воевали — глаз не оторвешь. А этот!.. И где только откопали это огородное чучело!

Я почувствовал себя оскорбленным и недобрым словом помянул в душе тех, кто прислал на нашу батарею этого «начальничка».

Когда после небольшой заминки я взглянул на капитана, то, прямо скажу, обомлел — его проницательный взор говорил, что он слово в слово прочел мои нелестные о нем мысли. Казалось, он понял все, что я мог подумать про себя. А на губах его продолжала играть та же непонятная, ироническая улыбка, хотя глаза смотрели по-прежнему ласково. Он снял фуражку и левой ладонью приглаживал набок свои светло-каштановые волосы.

— Что, товарищ капитан, ждали более солидного командира, а? — с обезоруживающей прямотой выпалил он, уже не улыбаясь, но глядя все так же доброжелательно. Голос у него был как у молодого петушка — ломкий.

— Да нет, почему же, — солгал я, чувствуя себя крайне неловко.

«Наверно, он не такой уж неопытный и зеленый, как может показаться с первого взгляда», — подумал я и только тогда вспомнил, что капитан как-никак мой непосредственный начальник и я должен отрапортовать ему по всей форме.

Рапорт получился у меня какой-то вялый и не шибко боевой, но капитан задал в ответ совсем неожиданный вопрос:

— Ты, часом, не грузин? — при этом он похлопал меня по плечу и добавил: — Признаюсь, с грузинами я еще никогда не встречался, ты — первый!

По моим расчетам, Колосков должен был быть младше меня лет на пять-шесть.

— Ну, пошли, покажешь мне батарею, — очень просто, по-домашнему сказал он и, не дожидаясь меня, широким шагом направился к ближайшему орудию.

Я только сейчас заметил, какие на нем громадные сапоги. Наверное, такое впечатление создавалось оттого, что ступни у него были длинные, а тощие ноги из широких голенищ торчали как жерди.

Говоря по правде, его простецкое обращение показалось мне странным. Прежний командир дивизиона держался всегда очень официально: и сам не любил панибратства, и других не подпускал близко. А этот сначала же стал держаться по-свойски.

Одним словом, неприязнь к новому комдиву, возникшая с первой же минуты, укреплялась все более.

Колосков приблизился к орудию, с силой повернул ручку вертикального прицела, быстро опустил вниз ствол, потом снял брезентовый чехол и заглянул внутрь.

Бой только что закончился, и орудийный расчет еще не успел прочистить ствол. Я подумал, что новый командир дивизиона сейчас начнет распекать нас за это, но он, словно ничего не заметив, как бы между прочим спросил:

— Когда вы меняли лайнер? Должно быть, вчера?

Я был поражен — заметить в закопченном стволе новый лайнер мог лишь артиллерист с большим опытом.

Неужели этот долговязый капитан таков? Не верилось мне, наверное случайно попал в точку.

Ни я, ни он не вызывали бойцов орудийного расчета, но они сами вышли из укрытия и, стоя неподалеку, наблюдали за нами.

— Который из вас командир орудия? — спросил Колосков.

— Я, товарищ капитан, — встал во фронт сержант Кирилин.

— Откуда ты родом?

Мне и это не пришлось по душе — никто из нас не обращался к рядовым на «ты». Такая фамильярность в нашем дивизионе не поощрялась.

— Москвич я, товарищ капитан.

— Как фамилия?

— Кирилин, товарищ капитан!

Колосков вдруг всплеснул руками и громко захохотал. Никто из нас не понял причины его внезапного веселья.

Колосков повернулся ко мне и, словно оправдываясь, пояснил:

— У меня был друг — такой же артист, — он кивнул в сторону сержанта и утер выступившие на глазах слезы.

— Я не артист, — с явной обидой проговорил сержант.

Колосков захохотал еще громче, плечи его тряслись, грудь заходила ходуном.

— И мой приятель тоже уверял, что он не артист, но я все равно величал его артистом...

Мы стояли в полном недоумении, уставясь на развеселившегося гостя. Честно говоря, у меня даже мелькнула мысль, не валяет ли он перед нами дурака.

— Кирилин! — повторил капитан, давясь от смеха. — Как только я взглянул на него, — показал он пальцем на сержанта, — сразу подумал, до чего же он похож на моего Кирилина, а этот артист и впрямь Кирилин... Это ж надо!

Капитан хохотал, а мы терялись в догадках — во-первых, почему наш сержант — артист, а во-вторых, кого он напомнил Колоскову? Но, судя по всему, наше недоумение Колоскова волновало очень мало.

— Мы с тобой, Кирилин, потом побеседуем. А пока у меня дела — надо поглядеть, что ваша батарея собой представляет.

Капитан своим журавлиным шагом двинулся к электропреобразовательному прибору ПУАЗО-2. Едва приблизившись к нему, он прищурил глаза и стал разглядывать длинный винт вертикального прицела.

— Не смазано, — констатировал он, — наверно, вы хотите удвоить количество феррум-эс-о, — назвал он химическую формулу ржавчины, иронически поглядев на меня.

Я готов был провалиться сквозь землю.

— Где там у вас командир приборного отделения?

Услышав вопрос Колоскова, я понял, что сейчас действительно разыграется комедия. Дело в том, что у нас было двое Кирилиных — командир расчета и командир приборного отделения. Нас это, разумеется, не удивляло и не смешило. Но если капитан по поводу одного Кирилина поднял такой шум, то что же он сделает, услышав о втором!

Широкоплечий сержант — командир приборного отделения сделал шаг вперед. Но фамилии своей не назвал.

Я понял, почему он так поступил, и про себя улыбнулся.

— Как фамилия? — Капитан сдвинул брови.

— Кирилин.

Колосков метнул на сержанта быстрый взгляд и от удивления едва не разинул рот. После небольшой заминки, поняв, что это не шутка, он взмахнул длинными руками и шлепнулся своим тощим задом на стоявший там же деревянный ящик из-под снарядов, и так неуклюже, что мы все от души расхохотались.

Сам капитан, задирая поочередно длинные ноги, колотил каблуками по земле и хохотал так, что, глядя на него, невозможно было удержаться от смеха.

Я видел, что бойцов совсем не смущает столь необычное поведение командира дивизиона. Напротив, все хохотали от души, откровенно симпатизируя непосредственности капитана. Сомнений быть не могло — своей простотой долговязый командир мгновенно завоевал сердца солдат.

Не знаю, как долго бы продолжалась эта забавная сцена, если бы не сигнал тревоги.

В нашем тогдашнем положении такой сигнал не предвещал ничего хорошего — или надо было ждать налета с воздуха или поднялась в атаку немецкая пехота.

К моему великому удивлению, тревога не произвела на Колоскова никакого впечатления — он даже смеяться перестал не сразу. Бойцы уже заняли боевые места у своих орудий, когда он неторопливо поднялся, затянул ремень и бодро и, как мне даже показалось, весело гаркнул замершей в ожидании приказа батарее:

— А ну, братцы-артиллеристы, покажем фрицам, чего мы стоим!

— Капитан, — обратился он ко мне, и я снова поразился — теперь в его словах не было ни веселья, ни доброты, они были суровыми и ледяными, — если вы позволите, я сам буду командовать огнем. Как меня перевели в дивизион, я истосковался по настоящей стрельбе, день и ночь копаюсь в этих проклятых бумажках, будь они трижды неладны!

Колосков говорил громко, и мои бойцы переводили удивленный взгляд с него на меня.

— Если мы будем бить прямой наводкой, то двумя орудиями займешься ты, а двумя — я, — капитан рукой указал, какими именно орудиями, — а вы, братцы-артиллеристы, поглядите, кто посильнее будет — я или ваш командир! Вот ты, Кирилин, нет, не этот, а

которого я артистом окрестил, зарядов возле орудий излишне не наваливай, пусть их подносят из укрытия. Чего робеешь? Думаешь, не будут поспевать? Это такие молодцы — в секунду быка освежуют, а может, и тебя впридачу! А не будут поспевать — тем хуже для них, снимешь ремень и исполосуешь задницы так, что они сидеть не смогут, есть будут стоя, как верблюды. Плохой артиллерист — хуже слюнявого верблюда, таким мы покажем кузькину мать!..

Я с глубокой неприязнью прислушивался к фонтану неуместных, на мой взгляд, острот и проникался к капитану все большим недоверием, хотя несколько замечаний Колоскова показались мне весьма дельными.

— Капитан, обрати внимание на эти два «юнкерса», которые подбираются к нам сбоку, бери их на себя. Эй, ребята, главное, держите на прицеле обоих, но не пропустите момента, когда они попытаются пикировать... Медлить здесь нельзя, иначе они от нас улизнут.

Тем временем гул моторов усиливался. Три огромных «юнкерса» все более приближались.

— Кирилин, бродяга! Оба орудия — нацеливай на ведущего, мы должны опередить этого мерзавца...

— Есть поймать в цель ведущего, — раздался бравый ответ Кирилина. Колосков оценил его оперативность:

— Молодец, ты и впрямь парень не промах.

Капитан, надвинув на лоб свою засаленную пилотку, напряженно следил за вражескими самолетами.

— Индекс семнадцать! — приказал он.

— Есть семнадцать, — немедленно последовал ответ.

Колосков и на этот раз успел похвалить бойцов:

— Орлы! Вижу, что дело свое знаете!

Он по-прежнему не сводил глаз с самолетов.

Я отлично его понимал, ибо не раз и сам с тем же напряжением ждал мгновения, когда самолеты должны были достичь предела, подсказываемого твоим собственным чутьем.

Георгий Цицишвили. Невезучий капитан.

— Огонь! — скомандовал Колосков, с силой взмахнув пилоткой.

В тот же миг из дул обоих орудий вырвалось пламя, раздался оглушительный грохот, лицо обожгло горячей волной, и вокруг запахло порохом и гарью.

Я поглядел в небо и увидел, как за первым «юнкерсом» потянулось черное облако дыма, и, охваченный пламенем, он через мгновение камнем устремился к земле. Идущий справа от него бомбардировщик резко накренился в сторону и сошел с курса, а первый, попав в «штопор», стал стремительно падать. Третий «юнкерс» моментально сменил курс — судя по всему, он получил серьезные повреждения.

— Капитан! — крикнул мне Колосков. — Ты не за этими смотри, а о своих «юнкерсах» позаботься, глаз с них не спускай! Ты видишь, они на нас летят! Командиры орудий, цельтесь опять в ведущего!

На сей раз сделанное мне указание обидным не показалось, ибо капитан был прав, откуда он мог знать, обладал ли я достаточным опытом, чтобы вести огонь одновременно по двум разным направлениям.

— Цель поймана, — рапортовали командиры орудий. Колосков стоял, нахлобучив на глаза пилотку, солнце светило ему прямо в лицо. Я не спешил, не хотел опережать командира дивизиона в отдаче приказов.

— Трубка четырнадцать! — резко скомандовал он и тотчас добавил: — Огонь!

Одновременно грохнула и вторая пара орудий. В тот же миг два огромных белых клуба дыма от разорвавшихся гранат перегородили дорогу «юнкерсу», который вот-вот переходил в «пике». Немецкий пилот не стал лезть на рожон, он тоже изменил курс и, поспешно развернувшись, спикировал на лес, сбросив три бомбы. Мы хорошо видели, как оторвались эти бомбы от вражеского бомбардировщика и как взвились в небо три черных фонтана земли. Однако еще не успев выйти из «пике», «юнкерс» загорелся и стал падать куда-то за лес.

Тем временем второй «юнкерс», пытаясь выполнить свою задачу, высыпал на нас маленькие осколочные бомбы, но они не успели долететь до нас, не успели взорваться, как раздалась громкая команда Колоскова:

— Не упускать прохвоста, три снаряда по нему беглым, огонь!

Второй «юнкерс» и в самом деле вышел из «пике» почти над нами! Сомнений больше не оставалось — у Колоскова был впрямь безошибочный глаз.

Капитан пригнулся, словно готовясь к прыжку.

— Трубка восемь! — скомандовал он.

— Есть! — так же браво ответили ему.

Капитан подождал немного, и когда «юнкерс» поравнялся с нами, взмахнув пилоткой, гаркнул: «Огонь!»

Орудийный залп и превращение самолета в летящие в разные стороны щепки, казалось, произошли одновременно.

Мы все видели, как отвалилось у вражеского самолета сначала одно крыло, потом второе, потом хвост. Как, сперва кружа, а потом все быстрее и быстрее полетели они вниз.

— Есть! Прямое попадание! — вскричал обрадованный Колосков, вскинул вверх руки и во всю глотку завопил: — Ура-а-а!..

Мальчишеский его восторг передался всей батарее, и через минуту мы все так дружно кричали «ура!», что вероятно и немцы нас услышали.

Моя батарея сбила несколько самолетов противника, хотя случаев прямого попадания у нас не было, но таким непосредственным образом нам до сих пор свою радость выражать не приходилось. Победы свои мы праздновали обычно скромнее.

Колосков же заставил нас выразить радость совсем иначе, он так нас зажег, что будь возможность, мы вступили бы с врагом в рукопашную, и наш натиск никто не смог бы остановить.

В тот день я еще раз убедился, что энтузиазм бойцов в первую очередь зависит от командира.

«Вот, оказывается, какой силой обладает этот безбородый парень! Видно, он и впрямь родился командиром!» — думал я.

Но наши победные клики могли дорого нам обойтись: не прошло и нескольких минут, как артиллерия противника обрушила на нашу батарею град снарядов.

ეროვნული ბიბლიოთეკა

— Ребята! В укрытие! — приказал Колосков и первым побежал к блиндажам, подавая пример остальным.

Для отважного и самолюбивого командира прятаться в укрытие — дело отнюдь не легкое.

Кто сосчитает, к каким жертвам приводило неверно понимаемое бесстрашие. Кто сосчитает, скольких храбрецов, не желавших убегать от опасности, чтобы не показаться трусами, настигала смерть!

Я тотчас понял мудрый маневр Колоскова: чтобы поторопить бойцов, подать им нужный пример, он побежал первым — ибо никто не сомневался, что в его отважном сердце не было никакого страха.

— Бессмысленная смелость никому не нужна! — кричал он, своими длинными ногами отмеряя расстояние до блиндажей, замаскированных дерном и ветками.

Укрытие у нас было отличное, и первая атака противника никакого урона нам не нанесла. Германской артиллерии почти тотчас же ответили наши дальнобойные батареи. Своевременный контрудар сбил врага с прицела. Лишь минут пятнадцать грохотала «богиня войны», и вскоре снова наступила тишина.

Едва прекратился артобстрел, мы с моими взводными кинулись к капитану, принялись по очереди тискать его в дружеских объятиях.

Никто из нас не мог скрыть восторга. Такой точной стрельбы мы и сами никогда не вели и у других не помнили.

Вот что такое, оказывается, истинный мастер своего дела! Вот, оказывается, на что способен настоящий командир! Мы так ликовали, как будто этим одним боем выиграли Отечественную войну!

Как только опасность миновала, Колосков снова превратился в того же беспечного и веселого капитана, каким он предстал перед нами вначале. Он, казалось, и не помнил, что был нашим командиром.

И до него и после я встречал много командиров, постоянно утверждавших свое превосходство, стремившихся к начальственной неприступности — и ничего не достигавших. Колосков к этому не стремился вовсе, но мы единодушно признали его своим командиром, своим вождем: этот молодой капитан доказал нам, что увлечь за собой людей можно, лишь обладая истинной внутренней силой, а не пустопорожней амбицией.

Заметил я также, что в то памятное утро все мы как-то невольно наблюдали за капитаном, ни на минуту не оставляя его вне нашего тайного испытующего внимания. Ничего не поделаешь — таким неодолимым обычно бывает интерес, вызванный сильной и самобытной личностью.

А Колосков, и не подозревая этого, подозвал Кирилина и завел с ним какую-то веселую беседу.

И эту его хитрость я сразу раскусил: он хотел спокойным, раскованным общением снять с бойцов давешнее напряжение и вернуть их в русло обыденности.

Люди и в самом деле быстро успокоились. Лихорадка боя как-то незаметно прошла.

Командирским чутьем Колосков мгновенно это ощутил и поручил мне собрать всех бойцов.

Выстраивать солдат было опасно, поэтому мы решили собраться в орудийном окопе Кирилина. Он был больше всех.

Капитан поднял руки, призывая нас к тишине. Все замолчали — ведь сила и дисциплина неразлучны как близнецы.

Когда наступила полная тишина, капитан произнес очень просто, хотя и с неподдельным чувством:

— Спасибо, братцы, — потом он стянул с головы свою засаленную пилотку и низко склонил голову.

Это было так неожиданно, так величественно и прекрасно, что у самых опытных бойцов навернулись на глаза слезы.

Больше капитан ничего не сказал, приказал всем вернуться в свои подразделения и, сутулясь больше обычного, поплелся к моей землянке.

Я последовал за ним. В землянке мы скинули шинели, и я увидел, что на груди капитана сверкают ордена Боевого Красного Знамени и Красной Звезды.

Я ждал, что он скажет что-нибудь, но он без слов повалился на мою кровать.

Представьте, я не обиделся, что он сделал это, даже не спросив моего разрешения. Еще удивительнее было то, что как бы ни вел себя этот странный человек — такой отважный и наивный одновременно, мне все

казалось не только естественным и непосредственным, но даже нравилось!

Да-да, я ловил себя на том, что все в Колоскове мне нравится, и не только нравится — я считал, что каждый настоящий мужчина именно так и должен себя вести.

Я присел к наспех сколоченному деревянному столу, чтобы незаметно понаблюдать за капитаном: он казался обессиленным и лежал, устремив глаза в потолок. А я вспоминал только что отгремевший бой: в ушах звучали его команды, и перед моим внутренним взором стояла незабываемая картина, как Колосков в надвинутой на глаза пилотке, безошибочно определяя расстояние до вражеского самолета, выкрикивал номера дистанционных трубок и сильным взмахом пилотки сопровождал команду. Я терялся в догадках, где он так наловчился, откуда у такого молодого командира такой опыт в ведении стрельбы.

— Капитан! — окликнул меня Колосков. — А водка у вас найдется?

— Поллитровка имеется. — Я решил, что он хочет выпить.

— Да нет, — поморщился он и сразу стал похож на надутого подростка. — На складе есть водка, чтобы бойцам раздать?..

— Что им полагалось, они уже получили.

В ту пору каждому солдату выдавали по сто граммов водки в день.

— Что было — было, я спрашиваю, можем ли мы дать им еще?

— Думаю, что двухдневная норма у нас еще осталась.

— Тогда прикажи старшине раздать бойцам все, до последней капли!..

— Товарищ капитан, если мы выдадим людям сразу по двести граммов, то все опьянеют. А вдруг в это время враг перейдет в наступление — что тогда?..

— Капитан, — прищурил глаза Колосков, — вы случайно не забыли, что я командир дивизиона, а вы — батареи?

— Нет, товарищ капитан, я этого не забыл, но считаю лучше для дела...

— Капитан! Прикажите старшине сейчас же выдать бойцам двойную норму водки!

Что мне было делать? Я вызвал старшину и передал ему распоряжение Колоскова.

Не прошло и получаса, как до нас донеслись оживленные голоса и смех бойцов. Было ясно, что водка возымела свое действие.

Среди веселого шума и гама я прекрасно различил тонкий высокий голос командира орудия Щерабуко, который визгливо кричал:

— Командиру дивизиона, капитану Колоскову — ура! Ура! Ура!

Несколько десятков голосов дружно подхватили: ура-а-а!

Колосков испуганно подскочил и впился в меня сердитым взглядом:

— Да что они — сдурели, что ли! Скажи им, чтобы не делали глупостей — тоже мне, героя нашли!

— Нет уж, этого я им сказать не могу — решат, что я вашей славе завидую, — с улыбкой возразил я. Капитан неохотно опять растянулся на кровати. Шум тем временем не только не затихал, но становился все громче. Бойцы затянули песню. В нашу землянку ввалился старшина, неся в алюминиевом котелке никак не меньше литра водки.

— Это ваша доля, — как можно почтительнее доложил он и поспешил удалиться.

Я открыл банку рыбных консервов из своего командировочного доппайка, нарезал хлеба и, налив водки, протянул алюминиевую кружку. Капитан осушил ее молча, и судя по гримасе, исказившей его лицо, поклонником Бахуса не являлся. Вскоре мы выпили всю флягу и, захмелев, стали поглядывать друг на друга с улыбкой.

— Хочешь, я расскажу тебе историю своей первой любви, — с какой-то детской непосредственностью предложил Колосков, в ожидании ответа вытянув свою длинную шею.

Я чуть было не рассмеялся вслух.

— Очень хочу, — признался я, еле сдержав улыбку.

— Правду говоришь или из вежливости?

— Правду.

— Тогда ладно, так уж и быть, расскажу, только чур — не корить меня и не насмехаться. Обещаешь?

Только я раскрыл рот, чтобы сказать «обещаю», как дверь нашей землянки с шумом распахнулась и на пороге возник перепуганный старшина.

— На батарею прибыли генералы, — гаркнул он,— скорее идите встречать, иначе... — не договорив, он, попятившись назад, захлопнул за собой дверь.

Я стал поспешно натягивать шинель, схватил ремень и портупею и тут с удивлением заметил, что Колосков даже не шевельнулся. Он хмуро глядел на дверь, словно пытаясь вникнуть в сбивчивое сообщение старшины.

— И чего их черт принес? — проговорил наконец он, медленно поднимаясь.

Поведение его удивило меня.

«Напился», — решил я про себя.

Колосков, еще чуток помешкав, накинул на плечи шинель и неторопливым шагом вышел из землянки. Я последовал за ним.

— Капитан, не забудьте ремень, — напомнил я, вообразив, что он забыл, но Колосков с несвойственной ему прыткостью уже одолел несколько ступенек и поспешил туда, откуда должны были появиться генералы.

В полном замешательстве я поспевал за ним, дивясь его странному поведению. Мне не приходилось ни видеть, ни слышать, чтобы так встречали командование.

Возле орудийного окопа Кирилина мы буквально столкнулись с группой генералов и замерли: с одной стороны стояли мы с Колосковым, с другой — четыре генерала и один полковник. Командира кавалерийского корпуса генерал-майора Гусева я узнал сразу. Я его и прежде видел, но среди прибывших на сей раз, судя по всему, главным был не он, а крупный генерал с лихо закрученными светлыми усами.

— Товарищ генерал-лейтенант, третья батарея 49-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона только что отразила воздушный налет противника. Сбила два и повредила три самолета. Батарея находит-

ся в полной боевой готовности, — браво отрапортовал Колосков.

Судя по лицам генералов, они были весьма довольны. С явным интересом они разглядывали Колоскова и одобрительно улыбались.

Как только Колосков закончил свой рапорт, тот, кого я принял за главного, подошел к нему, снял перчатку и, когда Колосков протянул ему руку, энергично стиснул ее в своих. Все это было знаком особого расположения генералитета к капитану.

— Вы отлично поступили, товарищ Колосков, — пробасил генерал, — командир дивизиона чаще, чем в штабе, должен находиться рядом с бойцами!

Долго тряс руку Колоскова, согласно кивая головой и уважительно на него глядя, и второй генерал. А Гусев расправил свои холеные усы, обнял Колоскова и троекратно расцеловал его, потом прижал к груди и зычно воскликнул:

— Молодчага, капитан! Мы уже слышали о героизме твоей батареи, — он дружески похлопал Колоскова по плечу.

— Я здесь гость, товарищ генерал, и все, что произошло — результат умелых действий капитана Хведурели, — твердо проговорил Колосков, глядя прямо в лицо генералу.

От смущения я не знал, куда деваться.

Судя по изумленным лицам генералов, они тоже были сбиты с толку и не знали, как быть. Гусев исподлобья кинул на меня короткий взгляд и как-то растерянно переступил с ноги на ногу.

Стоявший ко мне боком генерал (которого я про себя окрестил «главным») протянул мне руку, даже не повернувшись ко мне лицом. Остальные тоже приветствовали меня, но куда более сдержанно, чем Колоскова.

Гнетущую тишину нарушил «главный»:

— Но нам доложили, что батарея вела огонь под вашим командованием, — с ноткой сожаления сказал он Колоскову.

— Так оно и было, — вставил слово я, — капитан Колосков лично командовал огнем.

Генералы переглянулись.

— Капитан, — обратился Гусев к Колоскову, — может, объясните, наконец, к чему эта игра в прятки?

— Командир батареи — Хведурели, этим все сказано! — упрямо произнес Колосков.

— Значит, вы были всего-навсего посторонним свидетелем? — чувствовалось, что терпение «главного» иссякает. Тон его становился все более раздраженным.

Губы Колоскова кривила насмешливая улыбка. В глазах сверкали злые искорки. Таким я его еще не видел.

Старший из генералов вышел из себя, он огляделся по сторонам и загремел во весь голос:

— Батарея, в укрытие!.. А вы останьтесь, — генерал указал пальцем на Колоскова и меня.

Все кинулись выполнять команду, и на позиции нас осталось семеро: четыре генерала, полковник, Колосков и я.

— Капитан, сегодняшний ваш успех порадовал нас всех. Лично вас и ваших бойцов за проявленную отвагу Военный совет награждает орденами. Мы прибыли для того, чтобы вручить вам ордена, но признаюсь, мы немного удивлены вашей несдержанностью...

— Я воюю для победы, а не за ордена, — ответил Колосков.

Генерал сдвинул брови.

— Разумеется, мы все за это и сражаемся, — широко развел он руками.

— Нет, не все. Некоторые стараются ради чинов и наград...

— Капитан Колосков! — в голосе генерала послышалась угроза. Генералы неузнаваемо посуровели. А Гусев — тот и вовсе сделал в сторону Колоскова решительный шаг, словно собирался вцепиться ему в глотку.

«Главный» переглянулся со своими спутниками. Похоже, он колебался — продолжать или прекратить этот неприятный разговор.

— Я вижу, что не ошибся... Сдержанностью вы похвастать не можете. Да и дисциплиной тоже. Почему вы одеты не по форме? Какой пример подаете подчиненным?

— Я нахожусь на боевой позиции и одет так, как мне удобно. Во время боя человек должен чувствовать себя свободно.

— Так может, для удобства вы и штаны скинете и в одном исподнем будете командовать дивизионом?

Было очевидно, что генерал распалился не на шутку.

Атмосфера накалилась до предела. Каждую минуту мог произойти взрыв.

Я никак не мог понять, зачем Колосков держится столь вызывающе. Мне хотелось успокоить его, уговорить быть попокладистей, но мы стояли лицом к лицу с начальством, и я не мог произнести ни слова.

Колосков продолжал смотреть на генерала, насмешливо сощурив глаза.

Вдруг «главного» как будто что-то осенило, он шепнул пару слов полковнику, и тот рысью затрусил к блиндажам личного состава.

Остальные отошли в сторону и о чем-то оживленно заговорили. При этом они непрерывно курили любимые верховным главнокомандующим папиросы «Герцеговина Флор». Тогда весь генералитет курил именно эти папиросы.

Больше всего меня беспокоила предстоящая встреча полковника с моими подвыпившими солдатами.

Улучив момент, я шепнул Колоскову:

— Зачем вы лезете на рожон? Вы же видите, что играете с огнем. Зачем вести себя так вызывающе!..

— Да чихал я на их лампасы... — огрызнулся он. — Из-за их бездарности все наши неудачи, — он снова вставил крепкое словечко.

Все, чему свидетелем я оказался в тот памятный день, было для меня такой неожиданностью, что я не нашелся, что сказать. Действительно, в начале войны наша армия терпела тягчайшие неудачи, и приходилось слышать высказываемое вслух недовольство командованием. Средний и младший офицерский состав, так же как значительная часть рядовых, нередко позволяли себе осуждать действия генералов и упрекать их порой даже в том, в чем не было никакой их вины. Иногда эти настроения до предела обострялись, возможно, к этому приложили руки и наши враги.

Короче говоря, подобные настроения для меня не были новостью, но свидетелем такого неприкрытого

порицания и ненависти мне быть никогда не доводилось...

Должен признаться, что в глубине души я был на стороне капитана, ибо в неслыханных потерях, понесенных нашей ударной армией, в какой-то степени, по моему мнению, было повинно именно высшее командование...

Размышляя таким образом, я продолжал наблюдать за генералами и не без тревоги ждал возвращения полковника.

Полковник довольно быстро справился с поручением, запыхавшийся подбежал к «главному» и, явно взволнованный, о чем-то ему доложил...

Мы с Колосковым прекрасно видели, как возмущенно всплеснул руками генерал. Потом он взглянул на нас с нескрываемым гневом и грозно приказал:

— Вызовите ко мне старшину.

Потерянный, с пылающим лицом старшина через минуту стоял перед генералом навытяжку.

— Кто споил всю батарею? — казалось, генерал хотел загипнотизировать старшину своим буравящим взором.

— Никто, товарищ генерал, — робко ответил старшина.

— Немедленно постройте весь личный состав!

В эту минуту Гусев что-то шепнул «главному» на ухо, и тот сразу же переменил приказание:

— Отставить весь состав, постройте только младших командиров.

Через несколько минут старшина привел командиров отделений.

Честное слово, лучше б я этого не видел! Кирилин брел, пошатываясь, командир второго орудия Барсуков дважды споткнулся и чуть не упал, командир первого орудия Ломов был красный как рак. Единственный, кто держался прилично, был Синичкин — командир третьего орудия...

Преисполненные праведного гнева генералы, нахмурив брови, наблюдали за этим «парадным шествием» пьяных сержантов.

— Старшина, — изо всех сил сдерживаясь, приказал Гусев, — сейчас же уведи этих... этих... — он не мог подыскать нужного слова, вернее подыскал, но

не мог произнести его вслух, — этих... так их — растак... Уложи их, облей холодной водой, в общем прими любые меры, чтобы привести их в чувство! Через четверть часа они должны быть трезвы как стеклышки, иначе ты с ними вместе пойдешь под трибунал!..

Когда старшина увел спотыкающихся сержантов, Гусев злобно прошипел мне и Колоскову:

— Полюбуйтесь на ваших орлов, шагают, как гвардейцы на параде!..

— А они не на параде, товарищ генерал, а на поле боя, и поэтому их должны уважать все, даже генералы. К парадам вы привыкли, и сейчас, похоже, чувствуете себя на параде.

Колосков закончил последнюю фразу, и я только тогда постиг ее смысл. Видно, я был уже совсем не в себе. Я только заметил, как вытянулось лицо у Гусева, как побледнел «главный» и как насторожились остальные.

Полковник, словно ужаленный, подскочил к Колоскову и тихо, но так, чтобы слышали генералы, проговорил:

— Товарищ капитан!.. Что вы такое себе позволяете! Что болтаете? Неужели до сих пор не поняли, с кем говорите? Или вы пьяны без памяти?..

— Ничуть я не пьян, — стукнул себя кулаком в грудь Колосков. — Я хочу доложить товарищу генералу, что до сих пор меня любила вся батарея, а теперь будет любить весь дивизион, потому что я сам люблю их всех и ради личной карьеры не буду бессмысленно посылать на смерть, как это делают некоторые... А вас... — Колосков замешкался на мгновение, видно, хотел выразиться еще крепче, но, к счастью, передумал: — Вас из-за ваших качеств не любит никто!..

— Молчать!.. — нечеловеческим голосом заорал «главный», и мне показалось, что сейчас он ударит Колоскова, но он сдержался, сглотнул слюну, глубоко вздохнул и неожиданно вкрадчивым тоном спросил:

— А как ты думаешь, братец, если сейчас немцы пойдут в атаку, сможешь ты со своей пьяной батареей ее отразить?

— Смогу! — уверенно ответил Колосков.

Генерал сначала удивленно уставился на капитана, потом переглянулся со своими спутниками, словно спрашивал — с умным человеком имеет он дело или с дураком?

Все молчали. Мы стояли, затаив дыхание, и ждали, что предпримет «главный».

Он собрал всю свою волю, подавил свое бешенство и после недолгой паузы заговорил, подчеркивая каждое слово:

— К нам для осмотра позиций прибыл командующий фронтом, генерал армии Мерецков. Он стал невольным свидетелем проведенной вами стрельбы, когда вы почти одновременно сбили три самолета противника. Сначала — прямым попаданием в ведущий самолет, в результате чего был выведен из строя и второй, кроме того был сбит и третий «юнкерс». Кроме них были повреждены еще два вражеских самолета. Мы получили сообщение, что оба упали на нашу территорию. Командующий фронтом считает этот бой образцовым и хотел бы оповестить об этом всех зенитчиков фронта, чтобы они брали с вас пример. Вместе с тем командующий фронтом поручил мне, как командующему Второй ударной армии, члену Военсовета армии, дивизионному комиссару товарищу Зеленкову, командующему артиллерией генерал-майору Визжалину и командиру вашего корпуса генерал-майору Гусеву сегодня же, на позиции, вручить орден Боевого Красного Знамени тому, кто командовал сегодняшним боем. Как мы установили — это были вы, поэтому мы решили вручить этот орден вам, — генерал протянул руку, и полковник положил ему на ладонь красную картонную коробочку. Генерал поднял крышку, и мы все увидели, как засверкал новехонький орден. — Кроме вас, — неторопливо продолжал генерал, — награждены все активные участники боя. Из личного состава батареи почти никто не остался без награды...

Генерал выдержал длительную паузу и поглядел на нас так, словно видел нас впервые.

— ...Но теперь мы рассудили совсем иначе, и от имени Военсовета армии постановили: учитывая все

безобразия, свидетелями которых мы тут оказались, не награждать ни вас, ни ваших подчиненных...

— При чем тут бойцы! Если виноват я, то наказывайте меня!

Командующий махнул рукой, словно отгонял назойливую муху.

— За такие художества, — тем же тоном продолжал генерал, — за вывод из строя целой батареи и вы лично, и командир батареи, и взводные — заслуживаете трибунала, — генерал снова сделал паузу. — Но мы пока воздержимся от этого и, учитывая проявленный сегодня героизм, простим ваш проступок. Но помните, отныне мы не будем спускать с вас глаз и сурово накажем за малейшие погрешности! Тогда учтем уже все — и прошлое, и настоящее, за все вместе с вами рассчитаемся. Ясно?

— Ясно! — в один голос откликнулись мы с Колосковым.

Генерал резко повернулся и, не прощаясь, пошел к выходу, за ним последовали остальные.

Мы вернулись в землянку изрядно подавленными. Весь хмель с нас как рукой сняло. Колосков хоть и не подавал виду, но чувствовал себя не лучше моего.

— Не думай, что мне награды жалко. Обидно только, что не до конца высказал все, что на сердце накипело...

— Да куда уж больше... И так сказано достаточно. Тем более, что мы и впрямь виноваты, не надо было выдавать солдатам столько водки... А что еще вы могли им сказать?

— Что я мог сказать?! — округлил глаза Колосков. Сейчас он вовсе не походил на мальчишку. Глаза смотрели остро и зло. — Я мог и обязан был сказать, что этот наш генерал неуч. Мы идем на риск, ложимся под гусеницы танков, закрываем амбразуры собственным телом. А он совершает ошибку за ошибкой! Не нужно большого ума, чтобы понять, что на участке Тосно — Любань одним кавалерийским корпусом, пусть даже

до предела усиленным, кольца блокады не прорвать. Но у него даже на это не хватило ума, и теперь, попав в эту проклятую трясину, которую немцы называют мешком, мы уложим здесь две трети бойцов. Я понимаю: если жертва имеет смысл, то она необходима, но ведь такие жертвы — бессмыслица! И кто виноват во всем этом? Рядовые? Средний и младший командный состав?

Капитан, вконец распалившись, даже сплюнул в сердцах.

Я сам, да и, я уверен, — многие здравомыслящие офицеры не раз думали обо всем том, о чем так горячо говорил Колосков.

Но, говоря по правде, такого отношения к командованию при мне еще никто не высказывал. Впервые я именно тогда убедился, что за наивным, по-детски прямодушным и непосредственным характером Колоскова скрывается личность бескомпромиссная и дальновидная, имеющая обо всем собственное мнение, в большинстве случаев — верное и независимое.

В тот незабываемый день мы говорили о многом, незаметно за беседой миновала ночь, и лишь на рассвете мы вздремнули, да и то ненадолго, так как залпы вражеской артиллерии и гул «мессершмиттов» подняли нас, и до сумерек мы не отходили от орудий.

Что бы ни делал, о чем бы ни думал, я то и дело вспоминал Колоскова и всякую свободную минуту искал его глазами, наблюдая, как он по-журавлиному прохаживается от одного орудия к другому, зорко вглядываясь в позиции противника.

Весь следующий день он провел у нас.

Вечером меня позвали к телефону. В трубке загремел голос начштаба артиллерии корпуса. Вот уже два дня, кричал он, как Колосков самовольно покинул дивизион, никого не предупредив и не получив разрешения. Сидит у вас, а дивизион остался без командира. Какое он имеет право своевольничать? Что-о?.. Командовал огнем вашей батареи? А для чего тогда существует командир батареи? Передайте ему приказ командира ар-

тиллерии корпуса, чтобы он немедленно вернулся на свой командный пункт!.. Немедленно!

Я передал Колоскову приказ и увидел в его глазах ту же тоску, которую заметил еще раньше.

— Поди и терпи теперь дискуссию с комиссаром, брюзжание начштаба, вкрадчивые вопросы заместителей, бесконечные проверки, инструкции, рапорты, приказы, распоряжения. Одним словом — бумаги и наставления! Бумаги и внушения!.. Здесь же все просто: вот враг, вот мы. Воюй, если можешь. Ни тебе директив, ни рапортов. Сражаешься на совесть — значит человек. Никто тут не помешает проявить отвагу. А если ее нет, если ты не вояка — ступай служить в штаб...

— Что поделаешь, — успокоил я его, — временное пребывание в штабе необходимо каждому командиру, без этого ему не вырасти.

— А мне не нужно расти. Мне нужно воевать. Я готов всю войну пройти командиром батареи. А в штаб пусть меня забирают, коли надо, после войны. Если каких-то знаний мне недостает, потом пополню. Разве сейчас до этого? Сейчас надо стрелять! А уж это я умею делать лучше других, и нельзя меня от этого дела отлучать. Знаешь, как я просил не назначать меня командиром дивизиона! Да никто и слушать не пожелал! И не поверил никто — решили, что я лицемерю... Вот так-то, брат!

Колосков крепко пожал мне руку, потом, словно решив, что этого мало, сердечно обнял, подержал несколько минут меня в тисках своих длинных рук, резко повернувшись на своих журавлиных ногах, быстро зашагал прочь. За ним затрусили оба сержанта, ибо на каждый шаг капитана им приходилось делать не меньше двух...

Поздней осенью 1942 года случай снова свел нас с Колосковым.

К тому времени я уже командовал дивизионом. Стояла тяжелейшая пора. Ленинград находился в кольце блокады. Мой дивизион был передан только что созданному Волховскому фронту, защищавшему со

стороны реки вклинившуюся в расположение противника Вторую ударную армию. Армия оказалась в невероятно сложных условиях — с трех сторон окруженная частями противника, она одним лишь узким коридором осталась связанной с тылом и с другими соединениями.

До сих пор на этом участке немцы не использовали танков из-за болотистой местности. Но когда после неудачного наступления части Второй армии отошли назад, враг, укрепившись на сухой неширокой пустоши, получил возможность ввести в дело танки.

После появления танков в этом районе мой артиллерийский дивизион срочно перевели на левый берег Волхова оборонять тот узкий коридор, который с обеих сторон граничил с болотами. Именно через этот коридор немецкие танки должны были идти в наступление, вторгнуться в расположение наших войск и перекрыть коридор — единственный путь Второй армии к отступлению.

Поэтому позиция моего дивизиона являлась особо ответственным участком. Нам было приказано держаться до последней капли крови, ни в коем случае не делать ни шагу назад, не уступать врагу ни пяди этой узкой жизненно важной артерии.

Все три батареи дивизиона находились примерно на расстоянии двухсот метров друг от друга и составляли достаточное артиллерийское заграждение.

Накануне ночью мы с трудом переправились через полноводный Волхов и яростно вгрызлись в землю, чтобы к рассвету врыть огромные 85-миллиметровые орудия в глубокие окопы и приготовиться к бою.

Как только забрезжило утро, мы, тщательно изучив местность, обнаружили, что всего в пятистах метрах от нас находится еще одна неизвестная нам батарея. Я решил послать туда кого-нибудь из взводных, чтобы выяснить, какой части принадлежит эта батарея и кто ею командует. Но, как назло, немцы начали артобстрел, и отправку связного пришлось на время отложить.

Фашистские снаряды пролетали над нами и ложились за нашими окопами. Вражеская артиллерия била по противоположному берегу Волхова, огонь был яростным и, как всегда, — методичным.

Мы не вылезали из укрытия и ждали окончания артобстрела, и вдруг увидели группу из четырех человек, короткими перебежками приближавшихся к нам и припадавших к земле при каждом орудийном залпе противника. Надо сказать, что проявляли они ловкость и опытность поразительные, они двигались между первой и второй нашими батареями, быстро приближаясь к передовой.

Меня поразила отчаянная смелость этих людей — очевидно, они так рисковали ради очень важного, не терпящего отлагательств дела.

Из четверки смельчаков особенно выделялся один — он обращал на себя внимание высоченным ростом и в то же время какой-то нескладностью. Глядя на него, я почему-то вспомнил Колоскова с его журавлиной походкой. А что если это он и есть, подумал я, но тотчас отогнал эту мысль, ибо считал, что Колосков находится совсем на другом участке фронта. Вскоре смелая четверка скрылась с наших глаз.

Артподготовка еще не кончилась, когда со стороны замаскированного укрытия на нас поползли шесть вражеских танков. А немецкая артиллерия снова перенесла огонь в глубь наших позиций, чтобы не повредить свои танки.

Застыв возле орудий, мы ждали приближения танков. Я следил в бинокль за движущимися с омерзительным скрежетом чудовищами и прикидывал в уме, какое орудие на какой танк нацеливать.

В эти минуты я совершенно забыл о том, что перед нами находилась еще одна батарея и что ей предстоит первой отразить атаку противника.

Танки двигались двумя рядами — три по левую сторону от нас, три — по правую.

— Расстояние пятьсот шестьдесят, — крикнул дальномерщик.

И в ту же минуту находившаяся перед нами батарея, словно напоминая о себе, дала первый залп, и ведущий танк из правой колонны, выпустив струю черного дыма, застыл как вкопанный. Ведущий танк левой колонны повернулся вокруг своей оси и тоже ос-

тановился, ибо снарядом ему разорвало гусеницу. Следующий за правым ведущим танкист, обойдя остановившегося собрата, попытался продолжить атаку, но неведомая батарея дала по нему еще один залп, и поврежденный танк, теряя скорость, вскоре замер совсем.

Такой поворот дела, по-видимому, сильно смутил немцев. Убедившись в надежности нашей обороны, уцелевшие танки свернули в сторону и скрылись за холмом, выжидая более подходящего для возобновления атаки момента.

Вражеская же артиллерия не прекращала огня, хотя снаряды их рвались позади нас. Моя батарея не сделала пока ни одного выстрела.

Не знаю, то ли первый натиск танков носил разведывательный характер, то ли преследовал иные, более конкретные цели, но атака больше не повторилась и мы напрасно проглядели все глаза, боясь пропустить начало наступления.

Когда, наконец, стемнело и опасность миновала (на нашем фронте немцы никогда не предпринимали ночных наступлений), я решил добраться до соседней батареи, чтобы выразить восхищение ее командиру.

Соседи заметили меня очень скоро и послали навстречу сержанта. Он проверил мои документы и проводил к командиру батареи.

Войдя в землянку, я почувствовал, как от едкого дыма заслезились глаза — вечер стоял холодный, и артиллеристы развели в укрытии огонь. Сначала я ничего разглядеть не смог, но, немного освоясь, увидел, что на куске жести горел костер, вокруг которого обогревалось несколько человек. Все они молча обернулись ко мне. Наконец один из них заговорил:

— Товарищ майор, если вы присядете ненадолго, то мы попотчуем вас чаем, водку, как мне помнится, вы не особенно жалуете...

«Колосков!» — молнией сверкнуло у меня в мозгу.

Значит, я не ошибся, угадав в одном из давешних смельчаков долговязого капитана!

Обрадованный, я готов был приветствовать его со всей дружеской теплотой, но постеснялся почему-то незнакомых бойцов и поздоровался с ним как-то буднично и обычно и подвинулся к огню. Все потесни-

лись, освобождая мне место. Колосков оказался прямо напротив меня. Ему пришлось отодвинуть в сторону длинные ноги.

Он показался мне сильно изменившимся. И без того негустые его волосы поредели еще больше, и теперь его можно было назвать лысоватым.

Я думал увидеть его радостным после такой блестящей победы, но он выглядел грустным и озабоченным. Я отнес это за счет усталости и попытался его развеселить. Однако у меня ничего не вышло. Он задал мне один-единственный вопрос: знал ли я о том, что его батарея находится по соседству? Тут я хлопнул себя ладонью по лбу: ну, конечно, я должен был сразу понять, что так стрелять умеет лишь капитан Колосков! Ничего на это не ответив, он только печально улыбнулся.

Мы вышли из землянки и стали прохаживаться по прорытому между орудиями узкому проходу. Окоп был таким узким, что то ему, то мне приходилось идти впереди. Капитан по-прежнему казался чем-то глубоко озабоченным. Как выяснилось, он все еще командовал дивизионом, но поскольку на передовую батарею был назначен только что переведенный из тыла, совсем неопытный старший лейтенант, он побоялся, что новичок не сумеет отразить атаки противника, и, зная о предполагаемой танковой атаке, поспешил на место боя. Те четыре человека, которых мы видели бегущими к передовой, и были Колосков и его спутники.

Вскоре я узнал и о причине подавленного настроения моего друга. Оказывается, в то время как соседняя батарея под его руководством отражала танковый натиск, вторая батарея колосковского дивизиона, расположенная в пяти километрах от нас, была почти целиком разгромлена вражескими танками, вклинившимися в расположение наших войск почти на два километра.

Теперь стало ясно, что на обороняемом нами участке атака врага была предпринята для отвода глаз, а главный удар был направлен как раз туда,

где и была разгромлена батарея колосковского дивизиона. Я по своему опыту знал, как тяжело переживить командиру такую нелепую гибель целого подразделения.

Капитан должен был вернуться на командный пункт своего дивизиона и медлил лишь потому, что ждал, когда стемнеет окончательно. При дневном свете такой переход был крайне опасен.

В общем, откровенной беседы у нас на этот раз не получилось.

Вдруг на батарее поднялась суматоха. Сначала из темноты возникли дежурный и старшина, за ними спешил и командир батареи. Колоскову доложили, что на позицию прибыл командующий артиллерией армии.

Генерал-майора Средина я знал как человека высококультурного и прекрасно образованного, пользующегося среди артиллеристов большим авторитетом. До войны он читал в Артиллерийской академии курс тактики. Большинство выпускников академии были его бывшими учениками. Мы краем уха слышали и о том, что командующий артиллерией Ленинградского фронта тоже был в прошлом его курсантом.

Этот представительный и солидный генерал был великим умельцем по части вопросов: он так задавал вопросы, что в них уже угадывались выводы и оценки, сделанные самим генералом.

Мы с Колосковым поспешили навстречу Средину.

Генерал выглядел мрачным и приветствовал нас сухо.

— Где землянка командира батареи? — спросил он у молодого старшего лейтенанта, вытянувшегося перед ним в струнку. — Показывай дорогу.

К нашему приходу старшина уже успел вынести из землянки самодельную «печку» и зажечь керосиновую лампу с треснутым стеклом.

Порядком постаревший за эти годы генерал снял шинель, бросил ее на сбитую из нетесаных досок лавку и грузно опустился на топчан.

Колосков, командир батареи, я и сопровождавший генерала майор с бакенбардами продолжали стоять. Средин долгим взглядом смерил меня и Колоскова. Он не спешил. Лицо его выражало какую-то холодную отчужденность.

Глянув на Колоскова, я увидел, как зазмеилась на его губах та самая ироническая ухмылка и загорелись те же дерзкие искорки в глазах, которые я заметил в ту памятную нашу встречу с генералами.

— А вы что тут делаете? — будто и не ко мне обращаясь и не называя меня по фамилии, строго осведомился генерал.

— Прибыл для установления связи с соседней батареей, — доложил я.

— Товарищ майор, вы связной или командир дивизиона?

— Как мне известно из ваших книг, товарищ генерал, связь с соседями — первейшая обязанность командира.

— Но эта обязанность должна согласовываться с известными правилами, — возразил генерал. — Разве устав требует, чтобы вы, командир дивизиона, лично выходили на связь с командиром батареи? Вы же не знали, что случайно встретите тут Колоскова?

— Так точно, товарищ генерал! Но батарея действовала так умело, что мне захотелось обменяться с товарищами опытом. Разве это плохо?

— Плохо то, что в таких сложных условиях вы покинули командный пункт. Вот и капитан Колосков допустил такую же оплошность. За такие дела, милые мои, не выговор дают, а под трибунал отправляют.

— Я не где-нибудь на стороне находился, а на своей батарее, — как всегда решительно отвечал Колосков, — взял на себя руководство боем, так как знал, что эта батарея примет на себя первый удар. Я считал своим долгом находиться здесь...

— Все четыре танка были уничтожены при непосредственном участии капитана Колоскова! — смело, без всяких колебаний, доложил молодой командир батареи.

Мне его прямота пришлась по душе. Представьте себе, я знавал командиров, которые умели принижать заслуги других и приписывать себе чужие успехи.

Генерал сделал вид, что не слышит слов лейтенанта. Видимо, это не способствовало выполнению той

миссии, ради которой он сюда явился. Он снова обратился к Колоскову:

— Вы не правы, капитан! Командир должен находиться там, откуда ему удобнее руководить боем. Вы нарушили боевой устав, в результате погибла ваша вторая батарея. И это результат вашей безответственности.

— Товарищ генерал, я не мог находиться одновременно в двух местах. Уже прибыв сюда и узнав, что вторая батарея в тяжелых условиях, я сразу послал туда своего заместителя. Если бы я мог предвидеть, где будет более сложная обстановка...

— Капитан! — строго прервал его генерал. — Перестаньте дерзить! У меня как у артиллериста опыт не меньше вашего, и я прекрасно понимаю, что вы не могли находиться сразу в двух местах. Но вы обязаны быть там, где нужно! Нечего бегать с места на место! Не было никакой нужды демонстрировать свою отвагу здесь, на передовой. Ваша поспешность обернулась крупной неудачей. Теперь-то ясно, что натиск на этот участок был простой диверсией, а основной удар пришелся по второй батарее. Вас подвели ваше чутье, знания, опыт и, главное, — непонимание своего долга — в итоге вас не оказалось в самой горячей точке, а просидели вы в месте отвлекающего удара.

— За это уж, товарищ генерал, пусть отвечает разведка корпуса, неверно нас информировавшая.

— Нет, это ваша вина, капитан. Если бы вы оставались в своем штабе, ждали необходимых указаний и не устремились сюда так поспешно и необдуманно, ваш дивизион отразил бы обе атаки. И вторая батарея уцелела бы так же, как первая. Неужели вы не знали, что кроме вас на этом участке расположены три батареи майора Хведурели? Неужели его три батареи не сумели бы сделать того же, что ваша одна?

— Они прибыли лишь вчера ночью.

— Но ведь штаб артиллерии предупредил вас, что здесь будет целый дивизион. Более того, и эта ваша батарея должна была перейти в оперативное подчинение к ним.

— Я знал, что они должны прибыть, но не знал, что они уже прибыли.

Генерал махнул рукой, потом снял фуражку и бросил ее на стол.

— Капитан, — поглядел он прямо в глаза Колоскову, — я вас помню еще по артиллерийским курсам, потом видел вас в Луге на инспекционной стрельбе. Вы и в самом деле первоклассный артиллерист, говорят, что и человек вы хороший... Стреляете — лучше не надо, но командир, извините... — генерал не договорил. — Я познакомился с вашим личным делом и, признаюсь, поражен! На одно славное дело приходится два провала. Офицеры похуже вас продвигаются вперед, а вы норовите двигаться назад. Это не может быть случайностью. Не прячется ли за этим ваша слабость как командира — ваша, так сказать, ахиллесова пята? Задумайтесь над этим... С начала войны вы уже не раз проявляли и мужество, и отвагу, и умение сражаться. Но ведете себя порой как норовистая корова, которая доится, доится, а потом брыкнет ногой и все молоко разольет! Разве к лицу настоящему командиру такие выверты? Вас даже командарм знает, но с такой стороны, что лучше б не знал совсем! Ваши поступки, ваша поспешность особенно опасны сейчас, когда наша армия в тяжелейшем положении. Мы потеряли половину личного состава, орудий у нас в четыре раза меньше, чем нужно. Снабжение продовольствием и боеприпасами идет с перебоями. Сейчас каждое орудие на вес золота, а по вашей милости мы потеряли целую батарею!.. Сегодня мы посовещались, чтобы решить ваш вопрос. За гибель батареи вас следовало бы отдать под трибунал, но вас спасло то, что вы отразили танковую атаку. Поэтому мы постановили вас не судить, но командиром дивизиона вы оставаться больше не можете — для этого поста вы, как видно, еще не доросли. Вас решено назначить командиром батареи и поручить вам заново сформировать по вашей же вине разгромленную батарею. Орудия и пополнение личного состава вы получите на днях. А дивизион сегодня же передадите майору Звягинцеву.

Прибывший вместе с генералом майор щелкнул каблуками и еще старательнее вытянулся. Похоже, что

этот товарищ с бакенбардами до сих пор служил в штабе, судя по белоснежному воротничку и отутюженной гимнастерке.

— Все ясно? — осведомился генерал, вставая.

— Так точно! — беспечно, почти весело отозвался вытянувшийся Колосков.

— У меня такое впечатление, что вы не только не огорчены, но как будто даже обрадованы? — подозрительно взглянул на капитана Средин.

— Так точно, обрадован!

— Чему же вы рады, если не секрет? — строго спросил явно недоумевающий генерал.

— Я больше всего на свете люблю находиться среди бойцов и при орудиях. А командир дивизиона такой возможности не имеет. А бумажки и штабная работа мне и вовсе не по душе.

— Почему же вы не сказали об этом, когда вас назначали?

— Как же не говорил! — вспыхнул Колосков. — Но кто меня слушал! И разговаривать не захотели...

Генерал, явно смягчившись, с любопытством смотрел на Колоскова. Правда, ничего он больше не сказал, но распрощался с ним значительно более сердечно, чем этого можно было ожидать после такого сурового разноса. Мне показалось, что строптивый капитан невольно завоевал его симпатию.

Колосков обладал этим даром. Его отвага, прямота, непосредственность привлекали многих, хотя, в конечном итоге, его нельзя было назвать везучим.

В ту ночь, когда я прощался с Колосковым, он сказал мне со своей обычной улыбкой, но и с некоторым сожалением:

— Удивительное совпадение! Всегда, когда мне не везет и достается, вы оказываетесь свидетелем... Несмотря на это, я не прочь встретиться с вами в ближайшее время, но желательно — при лучших обстоятельствах.

Этому желанию Колоскова не суждено было сбыться. Мы действительно скоро встретились, но отнюдь не при «лучших обстоятельствах»...

Эта третья встреча произошла в феврале 1943 года, неподалеку от Новгорода, в период подготовки освобождения этого древнейшего русского города.

Я служил в штабе 52-й армии заместителем начальника отдела. В один прекрасный день меня вызвал к себе командующий артиллерией армии и поручил проверить так называемые «отдельные батареи», расположенные в районе станции Будогощь. Он сообщил мне, что политуправление армии получило материалы, компрометирующие командира батареи, и прежде чем ехать на батарею, мне необходимо ознакомиться с этими материалами.

На такую проверку меня посылали не в первый раз, поэтому заданию я не удивился и не особенно встревожился.

На следующее утро я отправился в политуправление, и когда инструктор отдела старший политрук передал мне документы для ознакомления, я сразу же был неприятно удивлен и озадачен. Капитана Колоскова обвиняли в самовольстве, грубых нарушениях дисциплины, пьянстве, панибратских отношениях с подчиненными и разных прочих грехах.

С тяжелым сердцем ехал я на батарею и думал о том, как несправедлива судьба к этому чудесному артиллеристу. Кроме того, я испытывал внутреннюю неловкость еще и потому, что сам был уже подполковником, а Колосков все еще оставался капитаном и командовал батареей. А сейчас ему опять грозило по крайней мере понижение.

Я решил прибыть к Колоскову как его фронтовой друг, а не как официальное лицо, как будто случайно оказался на этом участке фронта и заехал повидать старого сослуживца.

Я не верил выдвинутым против него обвинениям. Как мог пьянствовать человек, который вообще не любил пить? Не верил и в нарушение дисциплины. Что же касается панибратских отношений с подчиненными, то я был уверен, что и здесь он не переходил границ дозволенного.

— Ура подполковнику! — воскликнул при виде меня Колосков. — У меня примета — с вашим появлением у меня обязательно начинается переполох, но я все же всегда рад вам. Здесь мы так закисли от бездействия,

что я готов на орудийном стволе повеситься. Больше месяца уже не стреляем, спим на ходу, как старые клячи...

Он пригласил меня в свою чистую и светлую землянку, обращенную в сторону густого сосняка. Жилье его было таким чистеньким и уютным, как никогда прежде. Потолок и стены оклеены свежими газетами, пол из струганых еловых досок чисто вымыт, а постель так и сверкала белоснежным бельем. Можно было подумать, что командир специально готовился к приему комиссии. На столе под чистой салфеткой стояли солдатский котелок, алюминиевая кружка, две тарелки и консервная банка с сахаром.

Колосков, заметив мой нескрываемый интерес к порядку, царившему в его землянке, пояснил извиняющимся тоном:

— Что поделаешь, воевать я сейчас не воюю, значит все внимание — боевой подготовке и вот этой ерунде, — показал он в сторону аккуратно застеленной кровати.

— Садитесь, товарищ подполковник, — полуофициально, полудружески обратился он ко мне, — правда, водки у меня нет, не дают, говорят, что наша батарея — не фронтовая единица, но чаем я вас напою отменным...

Я просил не называть меня подполковником, и вообще не видеть во мне только старшего, я хотел беседовать с ним с былой непосредственностью и сердечностью. Но Колосков не внял моей просьбе.

Насмешливо сощурив глаза, он спросил:

— Вам, должно быть, неловко, что я так и остался капитаном, а вы уже подполковник. Признавайтесь, не хотите, чтобы я чувствовал себя обиженным?

Что я мог ответить, когда это в самом деле было так!

— Пусть это вас не тревожит, потому что меня лично это беспокоит очень мало. Вы же знаете, что я никогда не гонялся за чинами и наградами, а коли так, то и чужим успехам не завидую.

Он неторопливо поднялся и крикнул:

— Гаврилыч, принеси-ка нам чайку, да погорячее, чтобы рот обжигал!

Потом он снова обернулся ко мне и проговорил, потирая руки:

— Люблю горячий чай!

Я понял, что Колосков и на сей раз избегает откровенного разговора. Он прятался от меня, словно улитка в свою раковину.

Немолодой ефрейтор принес чай, от меня не укрылся благодарный взгляд, который метнул в его сторону Колосков.

— Видите ли, никто на свете — ни русский, ни грузин — не умеет заваривать такой чай, как Гаврилыч! — и он громко рассмеялся.

Я воспользовался случаем и спросил:

— Неужели у вас на батарее нет ни одной женщины, которая могла бы заваривать чай? Разве это мужское дело?

Ведь в бумагах, которые мне показали в политуправлении, Колосков обвинялся и в связях с женщинами.

— Женщины? — изумился Колосков. — На батарее, слава богу, нет женщин, батарея — все равно что корабль, женщины приносят только несчастье.

— И поблизости нет женщин вообще? — этот вопрос прозвучал у меня как-то испуганно.

— Во всей округе духа их нету!

Таким образом, одно из обвинений отпало само по себе, тут не требовалось никакой проверки.

— Ну, как вообще ваша новая батарея? — как бы между прочим поинтересовался я.

— Превосходная! — убежденно ответил он.

— А люди?

— Один лучше другого. Ребята как на подбор.

— А как с дисциплиной? Нет ли случаев нарушения, пьянства или...

— Да что вы, — прервал меня Колосков, — такого и они себе никогда не позволят, да и я не допущу.

— Какие отношения у вас с начальством? — я не мог удержать улыбки.

— Отвратительные, — нахмурился Колосков.

— Как это понимать?

— Начальник политуправления корпуса, которому приданы несколько таких батарей, как моя, настроен

против меня. Пронюхал, что командование со мной не в ладах, и хочет опередить всех, чтобы показать свою бдительность. Скажу вам честно, я тоже уступать не намерен. Отношения у нас как у кошки с собакой. Когда я был командиром дивизиона, мы уже тогда были на ножах, тогда он служил в нашей дивизии, а сейчас, видимо, решил свести со мной старые счеты, но я — крепкий орешек и так просто не дам себя расколоть!

Я удивлялся про себя, что несмотря на удивительную проницательность, трезвость и стойкость, он сохранил свою прежнюю детскую черту, которая проявилась и сейчас так же, как при его прежних стычках с руководством.

— Я знаю, что и раньше начальство вас не шибко жаловало, но, может, в этом повинна немного и ваша строптивость?

— Смотря какое начальство. Некоторые меня и прежде недолюбливали, и сейчас. А сам я ценю людей, которые в каждом деле видят прежде всего суть, а потом уже форму.

— В нашем деле мы не имеем права отрицать форму и даже не можем придавать ей второстепенного значения. Тот, кто попытается это сделать, обречен на неудачу.

— Это верно, но форма форме рознь. Одна — подлинная, а другая видимая, показная. Я лично враг всякой показухи.

— Только показухи?

— Очковтирательства, лести, самодурства, глупости и бездарности...

— Простите, но получается, что вы хвалите себя одного...

— Нет, я честен как на исповеди.

— Странно. Насколько я помню, вы не очень любите открывать перед другими душу.

— Я хочу облегчить вам вашу задачу.

— Какую задачу?

— Товарищ подполковник! Ведь вас прислали, чтобы проверить, соответствуют ли действительности состряпанные против меня обвинения?

Я не знал, что ответить — с виду наивный Колосков видел все как ясновидец.

— Мне очень приятно, я рад, что вы, поднимаясь по должностной лестнице, не потеряли прямоты и честности. Такой человек не проглядит правды. А ведь многие готовы ради собственной карьеры навешать на меня всех собак. Да только кишка у них тонка! Если я провинился на пятак, то отвечать на гривенник не намерен. Вы со мной согласны?

— Согласен. Человек должен отвечать лишь за то, что он сделал, — ни больше, ни меньше. Преувеличение или преуменьшение вины не позволяет называть истину истиной.

— Если хочешь осудить человека — кем бы он ни был, — уверяю вас, грехов за ним обнаружится достаточно. Поэтому не нужно приписывать ему чужих. Но есть такие безбожники, которые готовы обвинить тебя и в том, в чем ты никак не повинен.

— Что касается меня, капитан, то я искренне желаю вам добра, только хочу дать вам один совет...

— Какой же? — заинтересовался Колосков.

— Никогда не считайте, что вы умнее, благороднее, справедливее всех.

— Нет, всех я и не считаю, но думать совсем наоборот тоже не могу, тогда я потеряю веру в себя и вместе с тем — свою нравственную неуязвимость!

— Веры не теряйте ни в коем случае, но не будьте так уверены в собственной непогрешимости. Действуя из самых добрых побуждений, в конечном итоге вы можете принести вред своему коллективу, а это уже ваша ошибка.

— Что конкретно в моих действиях антиколлективно?

— Стремление к конфликту с руководством, неприязнь к старшим наряду с желанием во что бы то ни стало завоевать авторитет у подчиненных. И первое вы часто делаете в угоду второму. Если у вас это получается бессознательно — это плохо, если сознательно — еще хуже. Это так же дурно, как подхалимство по отношению к высшему и высокомерие — к низшему.

Георгий Цицишвили. Невезучий капитан.

— Но разве это не лучше, чем заискивать перед начальством и пренебрегать бойцами, то есть быть щенком перед львами и львом над щенками?

— Я не одобряю ни того, ни другого. Во всех ситуациях человек должен оставаться человеком: подчиняться без самоуничижения и начальствовать без унижения других...

— Ну, милый мой, таким был только господь бог в представлении верующих!..

В тот день мы расстались, как мне кажется, без особого сожаления...

Ночь, проведенную в фольверке, не забуду никогда. Не сомкнув глаз, я думал о Колоскове, и все совместно с ним пережитое, так же как с ним связанное, стояло перед моим взором.

Едва забрезжило утро, как я поднялся и распрощался с капитаном. Несмотря на уговоры, не остался даже позавтракать. Давшая трещину, пусть даже по самой ничтожной причине, дружба так просто не восстанавливается.

В последний раз я встретил его через два или три месяца после окончания войны, когда служил в штабе Ленинградского военного округа.

Меня вызвал к себе начальник штаба артиллерии Ленинградского военного округа генерал Брусер, и мы пошли к командующему артиллерией округа, одному из самых знаменитых артиллерийских начальников, генерал-полковнику Одинцову, кстати сказать, совсем недавно получившему звание маршала артиллерии.

Сам Одинцов и его управление располагались в бывшем здании генерального штаба русской армии на Дворцовой площади, напротив Зимнего дворца.

Когда мы вошли в кабинет Одинцова, коренастый, плотный генерал стоял, склонившись над шахматной доской, — противником Одинцова был сидевший в кресле его заместитель генерал Прохоров, также широко известный специалист по зенитной артиллерии.

— Здорово, Хведурели, — ответил на мое приветствие Одинцов и снова воззрился на доску. Страстный любитель шахмат, генерал Брусер тотчас приблизился к ним и стал внимательно наблюдать за игрой...

Я стоял в стороне, осматривая знакомый кабинет. Окна просторной комнаты выходили во внутренний двор, и кабинет командующего артиллерией был достаточно темным. Возле среднего окна красовался старинный резной стол, крытый зеленым сукном. В дальнем углу стояли два глубоких черных «вольтеровских» кресла, в одном из которых буквально утопал тщедушный генерал Прохоров. Он то поглядывал на Одинцова, то кидал в мою сторону хитроватый взгляд, показывая в улыбке свои вставные зубы.

Судя по всему, он выигрывал партию и был в отличном расположении духа.

Я знал этого выдающегося артиллериста-зенитчика с первых дней войны. Знал я и то, что он — бывший офицер царской армии, закончивший Петербургское Михайловское артиллерийское училище, с первых же дней революции перешедший на сторону Советской власти.

Со своей стороны и Прохоров знал, что я сын старого артиллериста, также выпускника этого училища. Поэтому Прохоров относился ко мне с особой сердечностью — как к сыну своего однокурсника. Возможно, именно он и посоветовал Одинцову перевести меня в управление.

— Сдаюсь, — вскричал Одинцов, перемешав на доске фигуры и теребя свои маленькие усики. Все знали, что проигрывать он не любил.

— Хведурели! Я знал тебя как человека смелого, но не до такой степени, чтобы явиться к генерал-полковнику в тот момент, когда он проигрывает! Смотри, как бы тебе не досталось, — с шутливой угрозой проговорил Прохоров, обнажая в довольной улыбке золотые зубы.

— Генерал-полковник знает, кого с чем встречать, — немедленно откликнулся Одинцов, — ты лучше расставь фигуры, я сейчас же возьму реванш!

Потом Одинцов быстро подошел ко мне и совершенно неожиданно спросил:

— А ты знаешь, что бабушка моя была грузинкой, из рода Гвахария? Очень красивая была, ласковая...

— Теперь я понимаю, откуда у вас эта горячность, — хлопнув себя по лбу, захохотал Прохоров. Его поддержал сдержанный, прекрасно воспитанный Брусер.

Одинцов действительно отличался горячностью и крутым нравом.

— Слушай, полковник, — перешел к делу командующий артиллерией, — война закончилась, и наша задача — позаботиться о достойных кадрах. Надо отобрать лучших артиллеристов, по-настоящему одаренных, с богатым боевым опытом, имеющих среднее военное образование, и послать их учиться в «Дзержинку»[1]. Изучив личные дела в отделе кадров, мы уже отобрали более десяти кандидатов из нашего округа. Твоя задача — съездить в N-ские артиллерийские части и лично познакомиться с этими кандидатами. Достойных оставь в списке, негодных вычеркивай. Ты понимаешь, какая на тебе ответственность? Когда мы уточним список, вызовем их сюда, и я лично буду беседовать с каждым в отдельности. Плохо тебе придется, если хоть один подведет!..

Одинцов не успел закончить, как я уже подумал о Колоскове. Ведь он как раз служил в 23-й армии, стоявшей на Карельском перешейке.

Прибыв по назначению, я уточнил в штабе артиллерии 23-й армии координаты друга. Колосков по-прежнему командовал батареей, расположенной в местечке N. Только командовал он теперь не так называемой «отдельной» батареей, а обычной, т. е. линейной батареей, и, таким образом, занимал низшую командирскую должность для среднего комсостава.

Хотя мне совершенно нечего было делать в N и оно находилось далеко в стороне от моего маршрута, я тем не менее прежде всего направился именно туда, чтобы повидать Колоскова и уговорить его поступить в академию. Я надеялся, что как офицер штаба Ленинградского военного округа смогу сломить сопротивление, которое могли оказать многочисленные недруги Колоскова. В конце концов здесь уж без за-

---

[1] Так называли Артиллерийскую академию им. Ф. Э. Дзержинского.

зрения совести можно было использовать и влиятельных покровителей.

Целых два дня я ждал нужного мне поезда и еще раз на своей шкуре испытал транспортный кризис в тот первый послевоенный год на территории, очищенной от врага. Так или иначе, я добрался до маленькой промежуточной станции, откуда до N должен был добираться автомашиной. Но выяснилось, что мост, через который шла дорога, был взорван финнами еще в годы войны, и, чтобы попасть на место, мне необходимо было переправиться через широкую реку.

Река протекала по дну глубокого ущелья, поэтому мост был возведен на очень большой высоте. Я кое-как одолел узкую каменистую тропинку и вышел к реке, где наши саперы спешно наводили на мощных деревянных сваях шаткий узенький мостик. Потом я вскарабкался по голому скалистому крутому берегу и до вечера, совершенно обессилевший, ждал попутной машины, чтобы доехать до местечка, расположенного всего в сорока километрах от той станции.

Трясясь в разбитом стареньком ЗИСе, я все время думал о Колоскове, и меня одолевали сомнения — уговорю ли я этого чудака поступить в академию? А что за офицер без академии!

Короче говоря, на исходе следующего дня я наконец прибыл в это N, где располагалось несколько воинских частей и разыскать капитана оказалось делом нелегким. С помощью тщательных расспросов, и главное, благодаря всемогущему удостоверению офицера штаба округа я нашел ту часть, где служил Колосков...

На месте его не оказалось. Дежурный офицер объяснил мне, что капитан находится на сахарном заводе.

— А что он там делает?

— Там работает его подразделение, — услышал я в ответ, — они все сейчас там, даже командиры части.

Я отправился в указанном направлении и через два часа пешего хода очутился перед высоченным зданием сахарного завода, занимавшего огромную территорию.

Прошло немало времени, прежде чем я нашел цех, в котором трудились бойцы колосковской батареи.

Здесь стоял оглушительный шум, стучали молотки, визжали пилы, громко перекликались солдаты.

В длинном с высоким потолком цехе, залитом ярким электрическим светом, среди уймы суетящихся людей я сразу разглядел Колоскова. Он стоял на деревянной лестнице, приставленной к огромному медному чану, и ножовкой перепиливал какую-то блестящую трубу.

Стоя у подножия лестницы, я чувствовал на себе любопытные взгляды бойцов — думаю, виной тому были мои новенькие полковничьи погоны. Появление старшего по чину всегда привлекает внимание.

— Товарищ капитан! — крикнул я снизу. — А вы, оказывается, и пилить умеете.

— А как же, я ведь в деревне вырос, — не оборачиваясь, откликнулся Колосков, решив, по-видимому, что разговаривает с кем-то из своих.

Потом он внезапно остановился, медленно повернул голову и, увидев меня, стал быстро спускаться. С последних ступенек он просто спрыгнул, не сдержав нетерпения.

Мы крепко обнялись. Потом он сделал шаг назад, чтобы лучше меня разглядеть.

— Товарищ под... прошу прощения, полковник! — поспешно поправился он и добавил: — Думается мне, что скоро будете генералом, а к вашим неожиданным появлениям и таким же внезапным исчезновениям я давно привык!.. — он весело рассмеялся.

Потом он поправил ремень и собирался отрапортовать по всей форме, но я взял его за руку и повлек

за собой. Но с полпути он все-таки от меня сбежал, чтобы отдать необходимые распоряжения взводным.

Мы прошли через ухоженный сквер и присели на деревянную скамью, стоявшую возле длинного одноэтажного здания.

Некоторое время мы молчали. Вдруг Колосков повернулся ко мне и в упор спросил: — А как вы думаете, что последует за сегодняшним вашим визитом? — и внезапно повеселев, добавил: — Неужели опять какой-нибудь переполох?

— Нет, на сей раз, мне кажется, я привез новость приятную для вас.

Капитан внимательно на меня взглянул, но в его глазах я не прочел ни интереса, ни любопытства.

— Ладно, пошли, чего мы тут сидим?

Длинное здание, словно барьером, окружило небольшой пригорок. Раньше здесь жили финские инженеры, а теперь тут устроили офицерское общежитие— каждый сектор представлял собой нечто вроде отдельной квартиры.

Колосков открыл дверь одной из них и пропустил меня вперед. Нас приветливой улыбкой встретила рослая женщина с открытым приятным лицом. Судя по всему, она в ближайшее время ждала ребенка.

Это обстоятельство весьма меня насторожило и озадачило: уж не помешает ли это осуществлению моих планов?

— Познакомьтесь, моя законная супруга Амалия Николаевна... Пока она приготовит нам ужин, мы можем посидеть в соседней комнате. Я догадываюсь, что вас привело к нам какое-то важное дело...

В крохотной комнатушке, выкрашенной голубой краской, с трудом умещались две железные кровати. Капитан указал мне на одну, сам сел на другую. Видимо, столом и тремя стульями, стоявшими в первой

комнате, обстановка этой скромной квартирки исчерпывалась. Женские платья и парадный китель Колоскова висели прямо на стене. Китель украшали всего два ордена, полученные капитаном в первые месяцы войны, и три медали.

Мне это показалось и обидным, и несправедливым. Я знал офицеров, чья грудь сверкала наградами, а этот отчаянный вояка и истинный знаток своего дела был отмечен так скупо! Правда, полученные в самые тяжелые дни войны эти два ордена для понимающего человека много значили, но через 20 или 30 лет все ли сумеют их оценить по достоинству?

И тогда я подумал впервые, что всякая война — величайшее зло, и даже самые благородные и пока, к сожалению, неизбежные войны во имя справедливости не ко всем справедливы...

...Я ощущал перед этим человеком самую настоящую робость. Сказать ему прямо о цели моего приезда, а вдруг он с присущей ему решительностью возьмет и откажется.

Я говорил о том, о сем, все не решаясь приступить к главному. Не знаю, догадался ли капитан о моих затруднениях, но на помощь мне не пришел. Сидел и молча слушал. Наконец я заговорил об окончании войны, о новых задачах, стоящих перед нами, о планах на будущее. Осторожно спросил, что он собирается делать.

Капитан заложил ногу за ногу, похлопал ладонью по широкому голенищу и смеясь ответил:

— Да вот, решил профессию сменить.

Представляю, как вытянулась у меня физиономия!

Капитан поглядел на меня — поглядел, да и расхохотался во весь голос.

Тут как раз в комнату вошла Амалия, пригласила нас к столу, и мое любопытство временно осталось неудовлетворенным.

Хозяйка потчевала меня таким вкусным вареньем из смородины, какого я никогда в жизни не едал. Женитьба друга, в том случае, если ты холост, непременно наводит на размышления. Примерно в таком настроении находился и я, прихлебывая чай и строя догад-

ки о замыслах Колоскова: что же он имел в виду, говоря о смене профессии!

Затянувшееся чаепитие кое-как подошло к концу, и Амалия Николаевна пошла на кухню мыть посуду.

Я решил снова вернуться к интересующей меня теме и без всяких околичностей изложить суть своего дела.

— Капитан! Командование нашего военного округа поручило мне очень ответственное задание.

Я видел, что Колосков насторожился, хотя внешне держался невозмутимо.

— Вам всегда поручают что-нибудь ответственное, — улыбнулся он и нарочито беспечным тоном добавил: — Да, простите, я еще раньше должен был поблагодарить вас, да все не получалось... Спасибо, что заступились за меня во время той проверки, когда кое-кто хотел обвинить меня во всех смертных грехах...

— Это дело прошлое, лучше поговорим о будущем.

— Не могу с вами согласиться. Доброе дело никогда не может стать прошлым. Оно всегда работает на будущее.

— Мне поручено, — уклонился я от неуместной сейчас философии, — отобрать кандидатов для Военно-Артиллерийской академии...

Колосков кинул на меня быстрый и удивленный взгляд.

— ...И, разумеется, моим первым кандидатом являетесь вы, капитан.

Колосков не подавал голоса и слушал меня с необычайным вниманием.

— Я абсолютно уверен, что кандидатуры генерала Одинцова пройдут беспрепятственно. Одинцов, как вы знаете, пользуется огромным авторитетом, он ведь бессменный председатель государственной комиссии «Дзержинки». В академии сейчас созданы великолепные условия. Кроме того, женатым выделяют отдельные комнаты. Одним словом, я считаю, что академия принесет вам огромную пользу. Что вы на это скажете?

— Прежде всего — большое вам спасибо, — я никогда не слышал, чтобы голос капитана Колоскова

звучал так глухо и сдавленно. Он даже головы не поднял, сидел, уставясь в собственные колени. Мое предложение, вероятно, серьезно его взволновало. Наконец он поглядел мне прямо в глаза и твердо закончил: — Но я уже решил свою судьбу, — и после минутной паузы добавил: — Знал бы раньше... кто знает...

— А что вы решили? — я почувствовал, что у меня дрогнул голос.

— Я же сказал — решил сменить профессию.

— Да что вы такое говорите, капитан! Какая же из военных профессий лучше артиллерийской? Тем более, что сейчас мы почти целиком перейдем на ракеты. Вы только представьте себе...

— Нет, я имел в виду совсем не военную службу, — прервал меня Колосков, — я решил демобилизоваться, уже подал рапорт и знаю, что ответ будет положительный...

Я не мог выдавить ни слова. Да и что я мог сказать? Если человеку нужно что-то другое, как можно навязывать ему свое мнение? Да и какое я право имею на это?

Настроение у меня мгновенно испортилось. Возможно, потому, что сам я намеревался остаться на военной службе и понимал, что люди, подобные Колоскову, нужны армии.

— Так что же вы решили? — наконец с трудом выдавил я из пересохшего горла. Он снова рассмеялся, но на сей раз этот смех показался мне неискренним.

— Вы, наверное, лучше моего знаете, что сейчас в стране начнется великая стройка, мы будем восстанавливать разрушенное хозяйство и никто за нас этого не сделает. Более всего нам необходимы дороги и электростанции. Недавно я прочел в газете, что для проведения дорог и для котлованов электростанций будут производиться взрывные работы. Вот я и решил освоить это новое дело — подрывника. Если до сих пор я взрывал с боевой целью, то теперь буду взрывать в мирных целях... И звук от этих взрывов будет таким же громким, как гром орудий... — Он снова засмеялся характерным своим смехом, потирая при этом руки. Он был до крайности возбужден.

Я слушал его и не понимал до конца — шутит он или говорит серьезно.

— Но вы же знаете, что подрывник ошибается в жизни только раз?

— Знаю и поэтому постараюсь не ошибиться.

— Но я не понимаю, что вас к этому вынуждает. Вы уже женаты, скоро и ребенок появится. Зачем же браться за такое рискованное ремесло?

— Такой уж я человек. Опасное дело мне удается лучше, чем безопасное.

Долго я переубеждал его, долго спорил, но он остался непоколебим. Мы проговорили до самого рассвета, и, пожалуй, такой дружеской и откровенной беседы никогда прежде у нас не получалось.

Утром мы распрощались, и на сей раз, как мне подумалось, навсегда.

В бледной северной ночи призраками поднимались огромные трубы сахарного завода. Колосков проводил меня до развилки. Потом посадил на попутную машину и махал мне вслед, пока не скрылся из глаз.

Я почувствовал себя так, как будто потерял очень близкого и дорогого человека.

Оказывается, не только война разлучает людей, это может произойти и в безоблачное, мирное время...

ЦИЦИШВИЛИ Георгий Шалвович. Род. в 1921 г. Писатель, критик, литературовед. Член-корреспондент АН Грузинской ССР. Автор нескольких сборников рассказов, монографий о грузинских писателях и взаимосвязях грузинской и русской литератур, трудов по теории литературы, истории грузинской драматургии, теории грузинского советского театра.

Реваз МИШВЕЛАДЗЕ

НОВЕЛЛЫ

ЧУЖАК

ЗАМЕТИВ, что гость утомился, Шио стал часто останавливаться, чтобы дать ему отдышаться. До крепости было еще довольно далеко. Напрямик они добрались бы гораздо быстрее, но Шио подумал, что гостю будет трудно идти лесом, и решил отправиться по тропинке.

— Если не секрет, уважаемый Сандро, сколько вам лет?

— А ты как думаешь? — гость прислонился к каменной глыбе, глубоко вздохнул и вытянулся, как перед объективом фотоаппарата.

— От силы пет сорок, — Шио уменьшил его возраст, насколько возможно.

Сандро рассмеялся, сломал сухую ветку дзелквы и отшвырнул ее.

— Ну к чему это? Ты правду мне скажи.

— Сорок два?

— Не угадал.

— Сорок четыре вам никто не даст.

— Ну что ты! Я ведь не девица на выданье, не бойся меня обидеть... — гость платком вытер

подбородок. У него были короткие руки, тяжелая нижняя челюсть и узкие губы.

«Надо же было мне затевать этот разговор, — подумал Шио. — Ну раз ты так упрямишься, получай...» И выпалил:

— Пятьдесят пять, шестьдесят.

— Сколько?

— Где-то между пятьюдесятью пятью и шестьюдесятью.

Шио влез на глыбу и протянул гостю руку. Сандро стоял подбоченившись и часто дышал, как выброшенная на берег рыба.

— Ты чем занимаешься?

— На почте работаю, — ответил Шио.

— В твоем возрасте уже понимать надо. Ну разве похож я на шестидесятилетнего старика. Мне и сорок шесть не стукнуло. — Он уцепился за корень плюща и, даже не взглянув на Шио, пыхтя полез вслед за ним.

— Простите, — вежливо произнес Шио, удивляясь в душе: «Что я такого сказал. Решил приятное ему сделать, а все как раз наоборот вышло. Какой-то он странный...»

Шио уже жалел о том, что потащил этого чудака смотреть крепость. Сегодня утром вызвал его председатель. У меня, говорит, срочное совещание, погуляй с моим гостем, покажи ему деревню. Шио уже тогда не по нраву пришлось равнодушие гостя к крепости Хвичи. В нашей деревне особых достопримечательностей нет, разве что на крепость Хвичи стоит посмотреть, — от всей души предложил гостю заведующий почтой. «А чего там смотреть, дружище? Стоит ли карабкаться по горе, чтобы вблизи посмотреть на разрушенные стены, которые и отсюда неплохо видно?» — сказал Сандро. Но Шио так жарко упрашивал гостя, так красочно обрисовал всю прелесть разрушенных временем стен и красоту вида, открывающегося с крепостных стен, что тот махнул на все рукой и пошел с ним.

Вчера весь день шел дождь. А сегодня как назло с утра печет солнце. В горах в апреле оно бывает осо-

бенно жарким. С гостя пот льется градом, но он даже не подает виду, что устал. Взглянет искоса на протянутую руку Шио и обходит своего проводника стороной. До сих пор, мол, ни в чьей помощи не нуждался, и теперь сам справлюсь.

— Всех надо отстегать по одному месту! — выпалил Сандро, когда ветка хрустнула у него под рукой, и не удержи его Шио, он бы упал навзничь.

— Это вы о ком?

— Да о тех, которые себя альпинистами называют, об этих бездельниках, что шастают вверх и вниз по горам.

— Но почему же? Разве вы не любите спорт?

— Какой же это спорт? Я понимаю футбол там или хоккей. Какой же это спорт без болельщиков? А здесь кто на тебя смотрит — карабкайся по горам, сколько тебе влезет.

— Дело же не в зрителях.

— А в чем же? В спорте соревнуются, себя показывают. Разумеется, я говорю о профессиональном спорте. А то зарядку по утрам даже я делаю. Хорошо, допустим, мы исключили желание показать себя. Скажи мне тогда — какой прок от этого альпинизма, какая от него польза. Билеты на него не продаются, а государству один только урон от него.

— Этак мы далеко пойдем, уважаемый. Знаете, что такое альпинизм? Сам я не ходил в горы, но с альпинистами разговаривал. Знаете, оказывается, какое это ощущение, когда после долгих мытарств достигнешь вершины и посмотришь вниз?

— Тоже мне, ощущение, — в голосе Сандро послышались сердитые нотки. — Не только ведь о себе думать надо. Альпинизм — это спорт эгоистов. Разве можно на собственные удовольствия тратить государственные миллионы. Понимаю еще, если бы они на той вершине открывали месторождение ископаемой руды или же, подобно Прометею, несли бы людям огонь. И ради того, чтобы посмотреть на вид с вершины, ты идешь на такой риск?! Ведь прекрасно знаешь,

что даже на самую высокую вершину Гималаев вертолет поднимет тебя за каких-нибудь полчаса. Ну разве не смешон альпинизм при нынешней технике?

— Ну, на вертолете это одно, а вот когда сам поднимешься — другое дело.

— Приятен сам процесс восхождения? Не верьте этому. На вид можно полюбоваться и с вертолета. Когда я лечу в Москву, весь географический макет Кавказских гор у меня как на ладони. И смотрю я сверху на твой Эльбрус с Казбеком. Я не думаю, чтобы скалолазу было очень уж приятно на скале болтаться, обвязанным веревкой, и обдирать ногти о камни.

— А почему же тогда государство всячески способствует развитию альпинизма?

— Прошу, не задавай мне демагогических вопросов. У государства, наверное, на то свои интересы. Ну уж если нам хочется спорить, — поспорим. Если альпинизм делает человека крепче, скажем, как плавание или бег, то им можно заниматься совсем неподалеку, в наших условиях. Найди где-нибудь маленькую скалу, обвяжись ремнем для безопасности, как циркач, на всякий пожарный случай, и тренируйся сколько тебе влезет. К чему тебе для этого ехать на Тянь-Шань и на мулах добираться до подножия какого-то там пика, ночевать в душной палатке, а поутру с раздутыми жабрами, задыхаясь, карабкаться по отвесной скале. Если мы исключим пользу альпинизма для здоровья, то какой от него прок, скажи ты мне на милость? Может, он имел какой-то смысл до появления вертолетов и самолетов? Человек покорял высоту, познавал свои возможности, смотрел с высоты на природу. Сегодня за десять минут ты перенесешься из центра Казбеги на вершину. Так нет, несмотря на это, нужно обязательно сломать себе шею на каком-нибудь леднике?..

— Но ломать шею совершенно не обязательно... — Шио неловко улыбнулся.

— Обязательно!.. Ну-ка, перечисли мне имена известных альпинистов. Из десяти и трое не вернулись.

Единицы умирали в своей постели естественной смертью... Остальные трагически погибли. Разве это дело? Бессмысленно такое самопожертвование. Гамцемлидзе бросился под танк и совершил подвиг. А у альпиниста то колышек сорвется, то трос оборвется. Разве это героическая смерть? Неужели хотя бы на семьдесят процентов не должна быть застрахована человеческая жизнь! Сколько прекрасных ребят погибло зря из-за слепой случайности, невольной ошибки или оплошности.

— Простым людям, вроде нас, трудно понять, как умирают альпинисты, — Шио искал выход из затруднительного положения.

— Что здесь трудного? Ошибся он в доле секунды и сорвался в пропасть. Может, он ни в чем не ошибался, а просто плохо укрепил в скале колышек или порода оказалась сыпучей... Ну, скажи, согласится умный человек из-за такой случайности проститься с жизнью? Я уже говорил тебе, что это чистой воды эгоизм. А почему, знаешь? Ладно, ты для собственного удовольствия взбираешься на вершину и ради собственного же удовольствия «трагически погибаешь». А твоя семья? Кто вырастит твоих детей? Ты не думаешь о том, что у тебя есть обязательства по отношению к своей семье и ты не имеешь права на подобный риск? Разве не надо подумать о своих детях? Или о родителях? Каково им будет, когда после двадцати дней поисков в цинковом гробу привезут им труп тридцатилетнего сына? Хорошо еще, если повезет и тело найдут...

Гость вдруг замолк, снял пиджак, повесил его на ветку, сел на камень, вытянул ноги, прислонился к стене. Сидел он так и смотрел на стоявшего у развалин Шио.

— Долго еще?

Шио снял шапку и, подобно вееру, помахал ею у себя перед носом.

— Пришли уже. Сейчас поднимемся по каменной лестнице и войдем в первую башню.

Сандро что-то пробурчал, оперся руками о камень и кряхтя встал.

— Я не устал вовсе, — он провел руками по бедрам, — просто мышцы болят.

— С непривычки.

Гость промолчал.

Через полчаса они сидели рядышком на ограде крепости Хвичи и разглядывали поросшие травой камни. Прохладный ветерок раскачивал пробивающиеся сквозь ограду хилые ветви.

Иногда по камням пробегала зеленая ящерица, застыв, смотрела некоторое время на сидящих на крепостной стене мужчин и вновь ныряла куда-то по своим ящерным делам.

— Вот что я тебе скажу, — Сандро взял камушек и запустил им в птичку, севшую на камень. — Сколько труда положили на эту крепость ее строители. Посмотри, какой прочный раствор, к тому же еще надо было на такую высоту камни волочь. Скажи мне, если можешь, для чего строилась эта крепость, каково ее назначение?

Шио пристально посмотрел на него, убедился, что гость не шутит, провел рукой по растрепанной бороде и со вздохом произнес:

— Что такое крепость — знает каждый.

— И все же, все же?

— Эта крепость построена для защиты от внешних и внутренних врагов.

— Не отвечай мне, пожалуйста, как ученик четвертого класса. Что значит «для защиты от врагов?» Как деревня с помощью этой крепости должна была себя защищать?

Шио рассмеялся.

— Вы серьезно спрашиваете?

— Очень серьезно.

— Когда наступал враг, люди укрывались в этой крепости.

— А когда отступал, они из крепости выходили? Неплохо же они жили! — в голосе Сандро слышалась ирония, а Шио только и мечтал о том, чтобы высказать все, что он думает об этом надутом чучеле, но сдержался и предпочел промолчать.

— Прости, запамятовал, как тебя звать?

— Шио.

— Шио, не думаешь ли ты, что я сумасшедший?

— Почему вы так говорите?

— А потому, что ты, наверно, думаешь, будто я болтаю первое, что мне на язык придется. Ничего подобного. Я все энциклопедии перерыл. На вопрос, что я тебе задал, не то что ты, ни один историк мне не ответил. Никто мне так и не объяснил назначение таких крепостей, а ты говоришь, это, мол, всем известно.

— Я же сказал вам, когда приходил враг, люди укрывались в этой крепости, — Шио посмотрел в сторону.

— Ну хорошо, давай поразмыслим. Вот мы с тобой сейчас находимся в крепости. Крепость эта стоит на вершине горы и сегодня ты еще раз убедился в том, как до нее трудно добраться. Ладно. Крепость эта не годится для постоянного жилья, не так ли? Здесь и воды нет, и следов человеческого существования не видать, как, скажем, в Гегути или в храме Баграта.

— Крепость не использовалась в качестве постоянного жилья, она служила укрытием.

— А люди, конечно же, жили внизу, на склоне, или в прибрежной роще.

— Да.

— Вот пришел враг. Во-первых, на деревню он нападал не с трубами и барабанами, а тихо подкрадывался, не так ли?

— Допустим.

— Как успел бы человек, живущий на равнине, укрыться в этой крепости? Не один же он жил, а с малыми детками, со стариками-родителями, с кумовьями да сватами. А как старики и дети должны были карабкаться на эту верхотуру?

— У деревни были дозорные, они разжигали костры и заблаговременно сообщали деревне о наступлении врага.

— Очень хорошо. Скажем, дозорные вовремя дали знать о приближении врага. И все ринулись к крепости, укрепились в ней и считают, что дело в шляпе. Ведь так?

— Да. — Шио подумал, что наконец-то до гостя дошло, и улыбнулся.

— Дорогой мой Шио, а знаешь ли ты, собственно, что надобно этому твоему врагу. Он дошел до сих пор из Монголии или Ирана не для того, чтобы на тебя поглядеть. Ему твое добро надобно, одежда, харч, имущество твое движимое-недвижимое. А как заполучит все это — то святыни осквернит. Вот каков враг. Ты говоришь, люди укрылись бы в крепости. Вот она — крепость. Приглядись-ка к ней. Здесь от силы разместится сто человек. Сто человек понадобилось бы только для ее защиты. А остальные? Куда бы ты поместил детей, где спрятал женщин? Что-то не соответствует эта крепость твоим о ней представлениям.

— Укрылись бы те, кто успел, — Шио почесал затылок.

— Наперегонки они бежали, что ли? Так невозможно. Одна пятая часть укрылась бы в крепости и оставила остальных гореть в огне? Так не поступали грузины.

— Так, по вашему мнению, крепость эта совершенно бесполезна? — в голосе Шио звучало отчаяние.

— Не торопись. Поговорим, посмотрим, может, и придем к какому-нибудь выводу. Ты ведь должен сказать мне что-то более убедительное. У нас ведь спор доказательный, не так ли?

— Ну, доказательный.

— Если враг разорил твое жилье, угнал скот и осквернил церковь, к чему тебе укрываться в крепости и взирать с ее высоты на пепелище своего дома? Разве грузин допустил бы такое?

Шио достал перочинный ножик, сорвал ветку и стал строгать ее кончик.

Гость не унимался.

— Допустим, человек, укрывшийся в крепости, думал так: мне бы сейчас спастись, а там как-нибудь оправлюсь и дом сколочу (что было довольно просто), и кур заведу. А ты как думаешь, как долго могли люди скрываться в крепости? Одну-две недели, ведь не больше. Ну представь себе. Едой, допустим, ты запасся. А вода? Сколько ты заберешь с собой воды? Ведь не в каждой крепости был вырыт подземный ход к

источнику воды. А если даже и был, какое количество воды понадобилось бы перетаскать в крепость! Представь себе двор крепости, лишенный канализации. Каково, а? Итак, больше двух недель здесь никто бы не выдержал, так?

— Так.

— Ну и, допустим, что я враг, чего мне перед этими стенами надрываться? Сяду я у ворот крепости и подожду, пока через две недели ты сам ко мне выползешь, изголодавшийся, изнуренный и опозоренный. Выползешь и сам же вручишь мне ключ от крепости. А не вручишь — помрешь с голоду.

— И помирали.

— Бессмысленно скрываться в этой крепости. Оставляешь адрес врагу, мол, вот он я, здесь «укрылся». Лучше схватить первое, что под руку попадется, и податься в лес. Там ты скорее спрячешься. А вдруг враг перепугается и сам в крепости спрячется. Тогда ты можешь выйти из лесу и сам осадить крепость.

— Выходит, что крепость эту для врагов строили? — Шио вновь улыбнулся.

— Не смейся, Шио. Умный человек не найдет иного ей применения. Ты небось в книжках читал и в кино видел, как на крепостные стены взбираются люди, а осажденные сверху швыряют камни или поливают их кипятком. Так все это враки. Плод фантазии и ничего более. Почему я должен брать эту крепость непременно сегодня, когда, как я тебе уже говорил, через неделю ты сам ко мне приползешь?

Шио молча встал. Облокотился на оставшийся подобно одинокому стариковскому зубу башенный зубец и оглядел деревню. Сандро подошел к нему и в ухо проговорил:

— Знаешь, что я подумал? То, что крепость эту строили неспроста, — факт. Возможно, тогда у нее было то же предназначение, что у тюрьмы — в ней запирали преступников.

— Уважаемый Сандро, мое мнение таково, что когда люди замечали приближение врага, мужчины брали в руки оружие, а женщин, детей и стариков в сопровождении нескольких человек отправляли в крепость. Здесь укрывали слабых, а сами встречали

врага внизу, не допускали его к крепости. Ведь и такой вариант возможен, а?

— Не знаю, — гость прожевал листочек плюща и выплюнул. — И это мало похоже на правду. Во-первых, если женщины и старики добрались до этой крепости, то не такие уж они и слабые существа. Если они способны забраться на эту верхотуру, пусть лучше внизу повоюют. И второе — почему нужно строить крепость именно на такой высоте? Укрытие для женщин и стариков нужно строить не на вершине горы, а на ровном месте, в центре деревни. И защищать их легче было бы, и собирать вместе не пришлось. И водой легче снабжать было бы, и едой. Не так ли?

Некоторое время оба молчали. Вдруг у Шио просветлело лицо, он вытянул руку и обратился к гостю:

— Посмотрите, какой сказочный вид! Разве вам не приятно смотреть на эту рощу, на реку? Ведь приятно. Может, наши предки строили эту крепость именно из-за красоты, для того, чтобы иметь возможность посмотреть на все это с ее высоты? Они ведь по природе были поэтами. Чувство прекрасного издревле присуще грузинам. Что вы на это скажете?

Сандро посмотрел сначала вниз, потом хмуро посмотрел на Шио и глухо пробурчал:

— А я думал, что ты серьезный человек...

* * *

Спускались молча, словно поссорившись.

Хозяин шел впереди, заложив руки за спину, гость цеплялся за ветки плюща и на каждом шагу вздыхал так тяжело, будто нес на плечах тяжелый груз.

Когда они подошли к сельсовету, Шио остановил гостя:

— Вот что я вам скажу! Вы мне не понравились. Мы друг друга не знаем. Можете вычеркнуть из своей памяти эти два часа. Если нам доведется еще встретиться, то не здоровайтесь со мной. И я вас не стану приветствовать. Не хочу я знаться с таким человеком, как вы. Ведь я имею на это право?

— Как вам будет угодно, — не переводя дыхания ответил гость, будто именно этих слов он и ждал, накинул на плечи пиджак, который все это время нес, зажав под мышкой, и пнул ногой калитку.

ТОСКА

РАННЯЯ осень. Дождливая, ненастная полночь.

У запечатанных дверей гастронома, расположенного на первом этаже дома № 5 по центральной улице девятого массива «Отрадная жизнь», сидит ночной сторож Макар Махатадзе, зажав меж колен двустволку тульского производства. В ведре перед ним горит огонь, над которым Макар греет озябшие руки. Время от времени он поднимает голову и посматривает влево, в сторону магазина тканей, сторожем которого он тоже числится, за что и получает двойную зарплату. Начальство вневедомственной охраны пошло на это нарушение трудового законодательства лишь потому, что ночным сторожем идет работать далеко не каждый.

Пламя костра освещает лицо, руки и густые седые усы Макара. Он так рьяно потирает над огнем свои неловкие, грубые пальцы со сморщенной, как на орлиных лапах, кожей, что хруст суставов заглушает треск огня. Очки у него сползли на самый кончик носа и вот-вот свалятся. Но если задуматься, зачем они ему нужны посреди ночи?

На освещенный круг легла чья-то тень.

Макар поднял голову. Перед ним стоял высокий старик в башлыке.

— Здравствуй!

Сторож нехотя, сквозь зубы, ответил на приветствие. Наверняка, решил он, бессонницей страдает и сейчас изведет бесконечной болтовней.

— Вижу — огонь горит. Ну и подошел, что ни говори, а есть в нем своя прелесть.

Макар молча встал, прислонил винтовку к стене, притащил из глубины двора порожний ящик и бросил его у ног старика.

— Присаживайся.

Тот устраивался долго.

Макар подбросил в огонь щепок и тоже сел, по-прежнему зажав между колен двустволку.

Некоторое время они молча разглядывали друг друга. Наконец Макар прервал молчание.

— Ваш корпус заселен полностью?

Старик усмехнулся.

— Как ты угадал, что я новосел?

— Ну, это дело нетрудное. Я всех жильцов здешних знаю, известное дело, все мимо магазина ходят... А тебя вот вижу впервые, значит, ты из нового дома, восьмиэтажного.

— Верно...

— Какой этаж достался?

— Пятый.

— Сам-то ты откуда?

— С Вэрэ.

— Далековато тебя забросили, но ничего, привыкнешь.

— Эх, неужто в мои годы можно еще к чему-нибудь привыкнуть? Пора уже привыкать к месту, что на кладбище отведут. Вот уже три месяца, как мы переехали, а район стал заселяться полгода назад. В моем подъезде всего пять семей живут, остальные квартиры пустуют. А говорят, люди в квартирах нуждаются... Где они, эти нуждающиеся, небось стоят день-деньской в Александровском саду, квартирантов себе подыскивают... Нелегко на старости лет сниматься с насиженного места, да, видать, судьба... Представляешь, уже дважды я заблудился тут, слыханное ли дело, чтоб человек не находил дорогу к собственному дому? Да нельзя нам было оставаться на старом месте, невестка с моей старухой вовсе разум потеряли. Жена скажет слово, невестка в ответ два, а много ли надо, чтобы свекровь с невесткой разругались. Вот и пришлось разменять квартиру... Эх, далеко меня забросило... Вообще-то я даже на экскурсию в эти края не ездил, а теперь... Нелегко человеку живется. Если и выпала на долю пара солнечных деньков, то под конец непременно и те боком выйдут...

Макар молчит. Он знает, старик сейчас достанет сигарету, прикурит с головешки, глубоко затянется и

продолжит свой рассказ. Ведь таким, как он, и вопросов задавать не надо, им нужен только слушатель, внимательный и терпеливый. Он поведает о всей своей долгой жизни, а потом, словно сбросив с души камень, встанет и уйдет. Хорошо, что приходят к нему такие вот одинокие люди, иначе нелегко было бы Макару коротать долгие ночи.

— Чачхиани я, Муртаз, — ночной гость слегка вытянул ногу, провел рукой по усам и кашлянул. Видать, он ожидал, что при его имени сторож вскочит на ноги и изумленно воскликнет — неужели вы тот самый, знаменитый Муртаз Чачхиани? Но Макар не только не вскочил на ноги, но даже и бровью не повел. Он не спускал глаз с огня и только хрипло покашливал.

— Хотя какое это имеет теперь значение, в мои-то семьдесят четыре... Правильнее было бы сказать — я бывший Муртаз Чачхиани.

— Ну зачем же так? Бывшим человек становится только после смерти.

— Ну, конечно же, бывший, коли свое существование на этом свете ты никому не можешь доказать, важно, кто ты сейчас, а все остальное — пустые слова... Конечно же, бывший, коли все у тебя в прошлом, и никому ты ничего не докажешь...

— Чем занимаешься?

— Занимался... Было время, я кое-чего стоил, и если не многие, то кое-кто здорово меня побаивался...

Чачхиани из-под белых кустистых бровей хмуро взглянул на сторожа. Удивительно, признание ночного гостя не смутило Макара. Он спокойнее прежнего продолжал смотреть на огонь.

— Разве можно переселять старика! Пока в глазах окружающих ты что-то собой представляешь — ты человек, а тут кто меня знает? Кому я нужен? Будто занавес опустился с тех пор, как я сюда переселился, и вся моя жизнь осталась по ту его сторону. Будто кто-то невидимой рукой сорвал с меня все, чем я гордился. Сорвал и оставил ни с чем, лишь с именем да с фамилией. А о чем они поведают только что вылупившемуся молокососу? Он и в очереди на такси вынырнет у тебя из-под носа, а если ты его легонько отодвинешь за локоть, тут же всадит тебе спицу в живот так, что и рука не дрогнет. Здесь хуже, чем в тюрь-

ме, скажу я тебе. А уж я-то в тюрьмах толк знаю. В общей сложности — добрых двадцать семь лет отсидел. В тюрьме, как только туда попадешь, сразу тобой интересуются, кто ты, что из себя представляешь, каких дел натворил — и соответственное к тебе отношение. А тут никому до тебя и дела нет. Разве можно такое вынести?

— За что сидел-то столько?

— Ограбление кутаисского ломбарда помнишь, в тридцать девятом? Так это моих рук дело. Все по-моему плану провернули. Потом была ссылка. Сибирь. Четыре побега у меня, и все чистые. В последний раз попался я после войны за ограбление нагваревского районного банка. Все провернули чистенько, органы уже от расследования отказались, да два года спустя выдала нас любовница одного парня — мы у нее несколько дней деньги хранили. Женщин в такие дела посвящать не следует, это уж точно. Если любит, ради тебя готова собственного отца отравить, а уйдешь — кончено дело, более лютого врага у тебя в жизнь не видать. Скольких погубила женщина, если бы ты только знал!.. Вот лежит она у тебя на руке, ласковая такая, что невольно развязывается язык, и ты в эту минуту готов поведать ей обо всем. Ну, а если надоест и бросишь ее, она больно мстит за свою любовь, может такое выкинуть, что тебе и не снилось. Смотри, не делай глупостей — никогда не делись сокровенным с женщиной, как бы она близка тебе ни была... Но всему приходит конец, как тебе известно, вот и мне все это надоело, не вязалось у меня, и бросил я дело. Стал учителем. Да-да, учил воров быть мужественными, выносливыми... Нынче любой пацан готов похвастаться тем, что он вор, а прежде было не так. Сын у меня рос, так он и понятия не имел, кто я и за что сидел. Может, и не следует мне сейчас прошлое ворошить, не пристало человеку вспоминать дурное, но все, что я делал, делал мужественно и благородно. Однако все, как известно, изнашивается, забывается. Я — птица невеликая, а ведь были

такие, что мир сотрясали, но и о них теперь никто не помнит. Это редкое счастье, оказывается, когда человек умирает тем, кто он есть... А что я сейчас? В такую даль никто и поплакать обо мне не придет, многие так и не узнают, что я умер, — не все ведь газеты читают. Умер, скажут, какой-то старик — только и всего... Не лучше ли было умереть мне в почете и славе, а на худой конец уж лучше бы меня в тюрьме кто-то прикончил. Знаешь, о чем я мечтаю? О старом доме с двориком. Эх, дружище, цены нет такому дворику, скажу я тебе. Обойди весь квартал — не найдешь человека, с которым можно было бы сыграть в нарды. Все по квартирам попрятались. Вообще-то и на Вэрэ у меня особенных хором не было, — но выйдешь во двор, непременно кто-то подойдет к тебе, разговорится, ты о своем расскажешь, он свое поведает, а много ли человеку надо... Обошел я свой восьмиэтажный дом кругом, ни двора тебе, ни лавочки, ни места, где можно было бы присесть... А в квартиру к соседу так просто не зайдешь, может, ему в эту минуту не до гостей, а ты и есть гость, коли пришел в дом к человеку. Все сейчас живут скрытно, каждый над чем-то своим корпит, а там, на Вэрэ, мы все знали, кто чего стоит, и за честь свою постоять умели... Здесь какой-нибудь сукин сын оскорбит тебя, а ты и сделать ничего не можешь. А что тут сделаешь? Убьешь? Не те нынче времена. Раньше говаривали «бывалый парень»... Сейчас этих слов и не употребляют. Раньше, если кто обидит или оскорбит, всадишь ему пулю в лоб — и делу конец, раз и навсегда, а сейчас только и делаешь, что сдерживаешь себя на каждом шагу...

Но больше всего тоскую я по своим собакам. Я охотник, а охотник без собаки, известное дело, что пахарь без плуга. У сына моего с женой своя жизнь, и внуки найдут свою дорогу, и я как-нибудь проживу остаток дней своих... Но мои собаки? Один враг у меня остался — сосед мой по лестничной клетке. Было у меня два пойнтера, старая Курша и ее щенок Бролиа. Бролию надо было видеть! Ему был только год, но я уже трижды выходил с ним поохотиться на перепелов. Он ме-

ня чуть с ума не свел, такое выделывал что и опытным ищейкам не под силу... Держать собак на пятом этаже, конечно, нелегко, да что поделаешь, я бы с жизнью расстался легче, чем с ними. Да вот, не повезло мне с соседом. Восемь раз писал он, что я собачник, что нарушаю покой дома, что по ночам собаки лают и не дают спать. Два месяца я бился с исполкомом и милицией, и когда стало невмоготу, отвез собак в Ахалсопели и оставил в поле, выгравировав на ошейниках породу и кличку. Бедняги, они долго еще бежали вслед за машиной, не понимая, что же происходит. Прошло время, а я все не могу забыть их глаз, кротких, добрых... Продать их я не мог. Хоть бы им повезло и нашел бы их добрый человек, дай бог ему здоровья. А может, бродят они сейчас без крова и без пищи и уже одичали вконец.

Неужто человек так и не может понять человека? Почему мне попался такой бездушный сосед? По ночам мне все Бролиа снится... Что за пес был, картинка! В этом году он впервые увидел снег, только наступил февраль, вывел я его в Кировский парк, помню, ошалел пес от радости — что это такое, что это падает на него с неба! Он подпрыгивал и языком ловил снежинки. Смотреть на него было одно удовольствие. Даже прохожие останавливались и ласково гладили его по голове...

Огонь в ведре тем временем погас. Макара Махатадзе одолевал сон, голова его медленно клонилась на грудь. Ружье выпало из рук. Он поднял его и прислонил к стене.

Муртаз Чачхиани встал, поправил башлык и сказал обиженно:

— Ну, я пошел. Старуха моя небось уже беспокоится, да и тебе, как я погляжу, спать охота. Приду завтра, поговорим.

Он не спеша, вразвалку, пошел в темноту, и вскоре не стало слышно его шагов.

Но ни на другой день, ни после Муртаз Чачхиани так и не появился.

Я бы не сказал, что Макар Махатадзе с нетерпением ждал его. На своем веку ему довелось и не такое видеть и слышать!

Перевод В. РОБАКИДЗЕ

ОВЧАРКА

Их БЫЛО пятеро. Майя Киласурия — певица, исполнительница куплетов, Герваси Зумбадзе — декламатор, Гиви Чапичадзе — конферансье (он же художественный руководитель), Гогиа Шервашидзе — иллюзионист-чонгурист и Бениамин Меладзе — администратор (он же рабочий сцены и активный участник скетчей). Все, кроме Герваси, выглядели молодыми. Я говорю «выглядели», потому что не берусь судить об их истинном возрасте. Актеры, а тем более члены агитхудожественной бригады районного филиала государственной филармонии всегда предстают перед зрителями бодрыми и жизнерадостными (я чуть было не сказал: по-детски бодрыми и жизнерадостными). А Герваси Зумбадзе было уже за шестьдесят. Вот уже почти год, как он ушел на пенсию из драматического театра им. Серго Закариадзе. Нет, никто не принуждал его к этому. Он сам того пожелал. «Чего еще мне выжидать здесь? Сорок лет дневал и ночевал я в этом театре, но так и не удостоился порядочной роли. А сейчас тем более не дадут», — сорвалось у него как-то с языка в разговоре с реквизитором Сашурой Гванцеладзе. Сказал, не подумав, и умолк в ожидании ответа Сашуры. Если бы тот поспорил с ним, хотя бы сказал, куда, мол, торопиться, какое время тебе о пенсии думать, Герваси, возможно, и пошел бы на попятный, но молчание реквизитора вконец сломило его. После репетиции он отнес свое заявление директору-распорядителю театра Павле Кохреидзе, и Павле (что было удивительнее всего!), его школьный товарищ, бывший инструктор исполкома Павле Кохреидзе без слов, как будто давно ждал этого заявления, наложил резолюцию «Удовлетворить».

С уходом Герваси Зумбадзе театр потерял ровно столько, сколько прибавилось коллективу и без того посрамленной агитхудожественной бригады Гивичичадзе. «С трудом добился штата гитариста, — убивался художественный руководитель, — а мне Зумбадзе подсовывают? Декламаторов у нас предостаточно, зрителю не нужно это ваше художественное чтение, хоть убей его». Однако директор категорически стоял на своем: «Мы должны его взять, он все-таки лучше многих других, по крайней мере человек порядочный». Так вот и получил Герваси Зумбадзе полставки в государственной филармонии. Терпеливый, кроткий, исполнительный (хоть этому он выучился в театре), Герваси не спорил с режиссером, не требовал повышения, в ссорах и интригах не участвовал... Один такой человек просто необходим ансамблю, ведущему бродячий образ жизни, и Герваси пользовался всеобщей любовью и уважением, его почитали, уступали место в автобусе позади шофера, рядом с художественным руководителем.

В то утро Герваси приоделся с особым тщанием: седые курчавые волосы смазал бриолином, надел любимый галстук-бабочку. Чисто выбритый, с плащом, перекинутым через руку, он впорхнул в автобус, вызвав восторг членов бригады, однако вскоре путешествие утомило его, и он сидел грустный, осунувшийся, как пригвожденный к месту. Даже не смотрел по сторонам. Сельская идиллия и свежий воздух не улучшили его настроения. «Какое время мне шататься по сельским клубам», — злился он на себя...

Они прибыли в село Наканеви. Заведующий клубом встретил их у висячего моста, под чинарой. Пожав всем руки, он прилип к Герваси, приняв его за руководителя.

— Я ждал вас утром, вы опоздали, — сказал он, беря у Герваси чемодан и ласково заглядывая ему в глаза. Заведующий клубом красил хной волосы и усы, и это придавало ему легкомысленный вид.

— У нас испортилась машина, и мы были вынуждены приехать рейсовым автобусом, — солгал Герваси.

За время своей работы в филармонии он всего раз сидел в этой машине. Шофер в основном занимался халтурой, концертные поездки его не касались. Актеры неоднократно обращались с жалобами в дирекцию филиала, но шофер упрямо занимался своими делами. Под конец служителям искусства надоело воевать с ним, и они отступились от своих притязаний.

— Зрители будут? — поинтересовался Герваси.

— Да, конечно... но... по правде говоря, кино пользуется бóльшим успехом... Вот если бы вы вчера прислали билеты, было бы хорошо. Я послал бы кассиршу в бригады. А почем билеты? — директор клуба, по-видимому, был деловой человек.

— Этого я не знаю. Вот идет наш руководитель, у него и спросите, — Герваси остановился, поджидая отставших товарищей.

— Который руководитель? — заведующий клубом поставил чемодан на землю.

— Тот с краю, с черной сумкой и сомбреро.

Знаменосец культурного движения в селе Наканеви с удовлетворением отметил про себя, что огромная соломенная шляпа, оказывается, зовется сомбреро — по крайней мере это он усвоил сегодня.

Тут подошел Гиви Чапичадзе. Он хотел было взять чемодан Герваси, но тот не позволил. «Нет, нет, он тяжелый, я сам понесу, у меня сил достанет». Завклубом, смутившись, бросился к певице-куплетистке Майе Киласурия и почти вырвал у нее из рук холщовую сумку с изображением Кассиуса Клея.

— Думаю, зрители хотя бы ради этой красивой женщины придут на наш концерт. — Чапичадзе ободряюще похлопал завклубом по плечу. Что и говорить, актерам дорого обходилась полная драматизма любовь художественного руководителя к разведенной певице. То они приводили в чувство Майю, терявшую сознание от избытка страстей, то утешали страдающего от мук ревности Гиви Чапичадзе, впустую растрачивая золотые минуты, предназначенные для служения искусству. Однако при посторонних великодушно хранили молчание.

— Куда денутся — придут, — завклубом с одобрением оглядел стройную фигуру Майи, сохраняя при этом выражение лица заботливого хозяина.

Между тем они подошли к клубу.

За полтора часа, оставшиеся до концерта, актеры должны были отдохнуть и, как говорится, привести себя в порядок.

Майский солнечный день угасал, недавно прошел дождь, и было прохладно.

В воздухе носились ароматы влажной земли и цветов акации.

Клуб в селе Наканеви помещался в ветхом дощатом строении, открытом всем ветрам. Подобные здания сохранились всего в нескольких селах, и завклубом от имени руководителей колхозов принес актерам извинение.

Они прошли мимо белой акации, и тут у самой лестницы из трех ступенек, что вела в клуб, Герваси увидел огромную черную овчарку. Овчарка лежала в траве, положив морду на передние лапы, и безучастно смотрела на вновь прибывших.

Осторожный Герваси приостановился, пропуская вперед молодое крыло бригады.

— Не пугайтесь, она не кусается, — успокоил его завклубом.

— А что же она делает? — шуткой пытаясь прикрыть свой страх, спросил заслуженный актер.

— Все, только не кусается, — не растерялся хозяин.

— Она ваша? — не угасал интерес Герваси к собаке.

— Да... В общем моя... Вернее наш сторож.

Герваси с сомнением взглянул на здание клуба, всем своим видом выражая недоумение — что, собственно, здесь нужно сторожить, но вслух ничего не сказал.

Завклубом вытащил огромный ключ, как в сказке о Буратино, и вошел в открытую дверь.

Первым мимо собаки прошествовал чонгурист Гогия Шервашидзе, он даже не взглянул в ее сторону, и собака ответила ему тем же.

Затем прошуршала надушенная Майя Киласурия, овчарка подняла голову и зевнула. Герваси увидел бездонную черную пасть собаки и содрогнулся.

Никакого внимания не обратил верный страж клуба и на огромный, подобно шарманке, чемодан Бениамина Меладзе.

Четвертым был Герваси.

«Кажись, не понравился я ей, глаз от меня не отрывает», — подумал он, и поскольку отступать назад было неудобно, с невинной улыбкой на лице пошел навстречу псу, всем своим видом говоря: я по хорошему делу пришел, не бойся.

Но разве поймешь собаку. Она почему-то не отрывала от Герваси гневных глаз и только на мгновение отвела их для того, чтобы взглянуть на открытую калитку. Герваси между тем ступил на лестницу.

«Не понравился, явно не понравился, сейчас набросится, — сердце у него готово было выскочить из груди, — а морда-то будто дегтем вымазана».

Только успел он это подумать, как овчарка черной молнией промелькнула в воздухе...

Герваси навзничь упал в заросли крапивы. У него захватило дух, когда он почувствовал на груди тяжелые грубые лапы собаки. «Сейчас схватит за нос», — пронеслось в сознании, и, прикрыв руками лицо, он издал отчаянный вопль.

Ничего лучше не придумав, завклубом спрыгнул с лестницы прямо на голову несчастному, и прежде чем верный страж добрался до подбородка ни в чем не повинного актера, оторвал его от жертвы и отшвырнул в сторону.

Между тем весь коллектив агитхудожественной бригады пришел в состояние «первой боевой готовности». Прикрываясь своим гигантским чемоданом, наступал на собаку Бениамин Меладзе, Гогия Шервашидзе, молотом закрутив свой чонгури в чехле, швырнул его в изумленного пса. Спокойно увернувшись от летящего снаряда, пес с виноватым видом уставился на завклубом, который отряхивал пыль с костюма побелевшего Герваси. Майя в обмороке лежала на руках художественного руководителя. По этой уважительной причине последний не мог принять активного участия в общем мероприятии.

— Батоно Герваси... батоно Герваси... батоно Герваси, — причитал иллюзионист, и в его причитании слышался вопрос: «Надеюсь, с вами все в порядке?».

— Кажется, я легко отделался, — много времени спустя подал, наконец, голос пострадавший. Он возлежал на кресле и сурово допрашивал сидевшего у его изголовья завклубом:

— А ты говорил, не кусается?

— Это первый случай на моей памяти, клянусь своими тремя детьми, я даже ее лая не слышал.

— Какая же муха ее укусила, чем я ей не угодил? — мертвенно-бледный Герваси был совершенно серьезен, но Гиви Чапичадзе почему-то улыбнулся.

Оставшееся до концерта время прошло в разговорах о собаках вообще и их взаимоотношениях с человеком. Под конец художественный руководитель бригады совершенно искренне предложил Герваси Зумбадзе:

— Отдохните, не невольте себя, вы еще не вышли из стрессового состояния, а концерт мы как-нибудь проведем без вас.

Старый актер ждал этого предложения, ему было приятно, что представилась еще одна возможность проявить себя. Приложив руку к сердцу, он с решительностью рыцаря-актера, самоотверженно преданного искусству, заявил:

— За меня можете быть спокойны, я бодр как никогда и обязательно выступлю. — Герваси был убежден, что его рыцарский поступок, свидетельствующий о верности избранной профессии, назавтра станет известен всему городу.

...Концерт, как и ожидалось, начался часом позже. Герваси концом бархатного занавеса начищал до блеска свои туфли, когда конферансье объявил: «Новеллу Нико Лордкипанидзе «Письмо мыши» прочтет известный актер Герваси Зумбадзе». Услышав слова конферансье, он растерялся, хотя хорошо знал, что его выход — после «Колхидских мелодий» чонгуриста Гогии. Он даже не поправил галстук-бабочку, зацепившийся за воротничок, и, выходя на сцену, споткнулся обо что-то так, что чуть не растянулся на полу. Но каким-то чудом удержался на ногах. Зритель встретил его аплодисментами, решив, что оригинальный выход

Реваз Мишveладзе. Новеллы.

актера на сцену — часть его номера. Не меньший успех имела попытка Герваси поправить бабочку — зал сотрясся от хохота. Оставив галстук в покое, Герваси вдруг выпрямился и произнес:

«Возможно, у моего героя безбородого кучера Иосифа не будет своего биографа типа Макколея или Плутарха.

А жаль!»

Только он произнес первые фразы, как зал замер. В наступившей тишине вдруг раздался скрип открываемой двери. У декламатора подкосились колени — он увидел, как в переполненный зал медленно входит черная овчарка. Вот она преспокойно прошествовала мимо кресел, подошла к самой сцене, села перед Герваси на задние лапы и превратилась в слух.

Герваси похолодел от страха.

В зале раздались смешки, но они тут же стихли.

Зритель явно не придал визиту собаки никакого значения, его интересовала новелла Нико Лордкипанидзе.

«Я пропал», — подумал Герваси, затравленно глядя на собаку и горько сожалея о том, что отказался от предложения Гиви Чапичадзе.

Он измерил глазами расстояние между собой и собакой. Нет, он даже не успеет добежать до кулис, если пес набросится на него.

«А, будь что будет! — решил он, почувствовав жжение в желудке. — Стыдно убегать, во-первых, от нее не убежишь, а во-вторых, опозорюсь перед всем честным народом. Ничего не поделаешь, такова, видно, моя судьба!»

И Герваси Зумбадзе продолжил:

«Легко догадаться, что дед его жил во времена крепостничества... А во времена крепостничества, как известно, — это доказала наша кинопромышленность и З. Чичинадзе, — господа по утрам поедом ели свою прислугу, в полдень запрягали в работу дворню, а по ночам насиловали служанок, иногда своих девок, но чаще жен и дочерей своих крепостных».

В зале снова раздались смешки, кто-то захлопал в ладоши.

Герваси украдкой взглянул на собаку. Овчарка, как загипнотизированная, смотрела на старого докла-

матора, и ему показалось, что раза два даже вильнула хвостом.

Герваси осмелел и так мастерски, с такой непринужденностью, — это я заявляю со всей ответственностью, — прочитал новеллу, что поразил самого Гиви Чапичадзе, который уже давно махнул на него рукой.

«Иосиф так и не оправился после этого, сознание не возвращается к нему, и у врачей нет надежды на его выздоровление. Сидит в сумасшедшем доме».

Последние слова Герваси потонули во всеобщем хохоте. Зрители аплодировали ему до боли в руках, многие плакали от смеха, стучали ногами, вызывали его на сцену.

А собака?

Только недремлющее око Герваси заметило, как, только он закончил новеллу, пес поднялся, выгнул спину, еще раз взглянул на сияющего актера и, не спеша, прошествовал мимо кресел обратно к выходу.

В концерте были исполнены и другие интересные номера, но овчарка больше не показывалась.

СЕЛЬСКАЯ МАДОННА

На окраине села, за крепостью, неподалеку от висячего моста, стоит небольшая, покрытая дранкой дощатая ода*. Здесь живет Маквала Замбахидзе. А деревня называется... Впрочем, это неважно, как она называется, наверное в каждом селе есть своя Маквала.

Сумерки. Маквала, кончив делать сыр, вылила сыворотку в кошачью миску. Прибрала комнату, умылась, намазала ярко-красной помадой пухлые губы, вышитой лентой крепко стянула на затылке волосы, поставила чайник на плиту и села у окна.

Лето. Ветерок доносит аромат кукурузных початков, нескончаемый стрекот сверчков и бормотание Риони.

---

* Деревянный дом.

Маквала — одинокая женщина. Родителей ее унес тиф, когда ей было восемнадцать. Сама она, по счастью, находилась тогда в Кутаиси и избегла их участи. В Кутаиси она работала на шелкоткацкой фабрике, куда устроилась после окончания школы для трудового стажа. Похоронив родителей, Маквала на другой или третий день заперла дом и уехала обратно в город. Никого из близких в деревне у нее не осталось. Десять лет она не подавала о себе вестей, а в позапрошлом году вдруг вернулась. И с нею какой-то мужчина — лысый, хромой, в летах. «Мой муж» — представила она его деревне. Муж пожил у Маквалы месяца три, а потом что-то, верно, пришлось ему не по душе, и он, собрав свои пожитки, отправился туда, откуда прибыл.

Маквала никому не объяснила причины отъезда мужа. Да и соседи, по правде говоря, не спрашивали. Кому какое дело, куда и почему бегут чужие мужья!

Некоторое время Маквала работала на птицеферме. А сейчас вот уже два месяца она — «передвижной библиотекарь» села. Эту должность создали по инициативе председателя сельсовета. Подобно почтальону, Маквала ходит по домам и разносит книги, а раз в неделю, когда в клубе показывают кино, продает билеты. Фильмы в селе обычно крутят по субботам.

Скрипнула калитка. Хозяйка не трогается с места, даже в окно не выглядывает, она и без того знает, это Кириле — заведующий фермой. Его шаги она узнает среди тысячи других. Походка у Кириле неуклюжая, он тяжело поднимается по лестнице. Вот он появляется в дверях, швыряет на диван соломенную шляпу, поправляет перед зеркалом волосы и замирает, подперев плечом дверь.

— Ой! — пугается Маквала, а Кириле расплывается в улыбке. — Чтоб тебе пусто было, что за привычка входить без стука.

Кириле подходит к своей подружке, гладит ее голые руки, опирается плечом о стену.

— Может быть, выйти и закричать перед твоими окнами: «Хозяйка, хозяйка!»? Весь народ собрать?

— Кашляни, по крайней мере, когда входишь, вдруг у меня гость?

— Гость?! — в голосе Кириле звучат грозные нотки.

— Ну, гостья какая-нибудь, малахольный, квирикадзевская девчонка на день раз пять забегает.

— Не приваживай ее, они все почесать языком горазды, эти Квирикадзе.

— Ну и пусть чешут, кроме тебя, сюда никто не ходит.

— А этого недостаточно?

— Ты о чем?

— Так они же на все село растрезвонят.

— Ну и пусть. Я женщина безмужняя. А одного мужика любить никому не заказано.

— Маквала!

— Ладно, ладно, все вы, мужики, на один лад, чуть что — под себя делаете от страха.

Кириле снимает рубаху и остается в майке.

— В умывальнике есть вода?

— Да. Посиди немножко, дай мне поглядеть на тебя, — эти слова Маквала произносит с удивительной нежностью и печалью.

— Целый день в бегах, а дома небось заждались, — перекинув через плечо полотенце, Кириле снимает с руки часы.

— Где ты был?

— В район ездил. Только не спрашивай зачем.

— На совещание, наверное.

— Их тоже можно понять — время трудное. Вот и увеличивают план. А что мне делать, если корова больше одного теленка не родит.

— Сегодня я твою жену видела.

— Где? — Кириле останавливается в дверях галереи, но не оборачивается.

— Где? Возле школы, где же еще, за Бадри пришла. Красивая у тебя жена, сущий ангел.

— Да, ничего.

— Как только она пошла за такого буйвола, ума не приложу.

— Знай наших.

Кириле умылся, вернулся в комнату, разделся и нырнул в сверкающую белизной постель.

— Маквала!

— Чего тебе?

— Поди сюда, поговорим.

Маквала встала, прикрыла окно, закрыла на засов балконную дверь. Подошла к зеркалу, распустила золотистые волосы, потушила свет и присела на кровать.

— Погоди... Ладно... Дай приголублю... Куда я убегаю?.. Не сверни мне шею... Ох, ты, медведь...

Немногим более чем через полчаса в окнах Маквалы снова зажигается свет. Заведующий фермой осторожно открывает калитку и растворяется во тьме.

Маквала некоторое время еще нежится в постели. Но сон не идет. Жарко. В полночь она в одной рубашке выходит из дому. Пройдясь босиком по траве, останавливается, прислоняется к дереву и пристально смотрит на луну.

— Маквала! — раздается совсем рядом.

— О, господи! — не слишком, однако, обеспокоившись, она спешит к дому.

— Маквала, это я, Варлам, не бойся.

— Чтоб тебе лопнуть, ох и напугал, — Маквала поднимается на балкон, обхватывает руками столб, — а говорил, на курсы уезжаешь?

— Завтра еду, — шепчет гость, по-кошачьи неслышно поднимаясь по лестнице. По-видимому, ему хорошо знакомы маквалины апартаменты.

Варлам — директор местной восьмилетки. Знаток истории. Месяца четыре назад они с Маквалой встретились в избирательном пункте, где будучи агитатором Варлам проводил беседу о преимуществе социалистической системы выборов перед капиталистической. Маквала слушала его внимательно, а потом задала вопрос. Директор ответил серьезно, исчерпывающе, но в голове мелькнула шальная мысль — неспроста такая хорошенькая женщина интересуется подобным вопросом. После беседы Маквала как обычно не спеша направилась к остановке автобуса под липой, так что не столь уж и простодушный директор легко ее нагнал. — Если вас серьезно интересует система выборов в Португалии, могу назвать специальную литературу по этому вопросу, — не растерялся Варлам. Маквала бросила на него изумленный взгляд. С этого все и началось. В тот вечер директор восьмилетки проводил до дому разведенную избирательницу

и задержался у нее намного дольше, чем это приличествовало новому знакомому.

С той поры он по крайней мере дважды в неделю аккуратно посещает Маквалу Замбахидзе, несмотря на то, что выборы в районный Совет давно и успешно миновали, а до следующих выборов — самое меньшее два года.

— Ты что, как лунатик, бродишь по двору в эту полночь? — в словах Варлама было мало ласки, но он произнес их таким тоном, что Маквала поняла его как следовало.

— Не спалось. Жарко.

— Ждала? Поди сюда.

Варлам сел на балконную тахту, притянул к себе Маквалу и обнял ее. Маквала стояла перед ним и гладила его густой вихор.

— Пристали с этими курсами! Как выдержать целых два месяца без тебя?

— Почему же, поедешь, развлечешься.

— Какое время мне по курсам бегать. Какая еще переподготовка мне нужна?

— Смотри, чтоб тебя не слишком уж переподготовили, — смеется Маквала.

— Не беспокойся. Приедешь ко мне?

— Если соскучишься.

— Пришлю телеграмму, как в прошлом году. «Приезжай, шестнадцатого буду встречать на автовокзале. Ламара». Помнишь?

— Еще бы не помнить. Весь день я была сама не своя, все думала, кто эта Ламара. Ты ведь не предупредил, что уезжаешь. Потом, как по наитию, позвонила в школу, мне ответили, что ты в Тбилиси. Едва успела на автобус.

— Ничего не поделаешь — военная хитрость. Ты же знаешь, у наших девушек на почте — ушки на макушке. А на этот раз каким именем подписаться? Опять Ламарой?

Маквала садится директору на колени и целует его в лоб.

— Каким тебе хочется. Тяжело?

Варлам чмокает в мочку уха точно свинцом налитую Маквалу и протягивает руку к краю тахты.

— Смотри, что я тебе купил!

— Варлам! — Маквала вскакивает, подбегает к окну, поворачивается к гостю спиной.

— Только прошу тебя, не начинай как в прошлый раз, — Варлам подходит к Маквале, левой рукой обнимает ее за талию, а правой набрасывает на плечи синий японский шелк.

— Зачем ты это делаешь, Варлам? — в голосе Маквалы звучит обида.

— Что именно?

— Отпусти, прошу. Мне нужно что-нибудь дарить? Клянусь тобой, я не хочу этого. Не тот характер, хоть убей. Да я ж умру — не пройду мимо твоего дома в платье из этого шелка.

— Почему же? — медовым голосом спрашивает Варлам.

— Почему, почему, сколько раз тебе объяснять? Ты, конечно, скажешь, никто, кроме нас, не узнает. Но я-то ведь знаю, что это куплено на деньги, которые ты отнял у своей семьи.

— Не болтай глупостей.

— Прошу тебя, забери, забери и подари кому-нибудь другому.

— Может быть, соседям продадим с прибылью? Тебе не понять, что я испытывал, когда покупал это для тебя. Я представлял тебя именно такою — с этим шелком вокруг шеи — ну, точно богородица. Хватит меня поучать. И это ты называешь подарком? Грошовую ткань? Пойми, мне доставляет удовольствие сделать тебе приятное, и не философствуй, прошу тебя, не лишай меня радости. Куда ты? Ты меня слышишь?

— Не кричи, — таинственным шепотом отвечает Маквала из ванной, — ложись, я сейчас приду.

Когда из репродуктора, укрепленного на балконном столбе, раздались звуки гимна, Варлам был уже далеко от дома Маквалы. Он шел, прокладывая себе путь палкой, чтобы не свалиться в яму или не споткнуться о бревно, брошенное на дороге.

Маквала стояла у калитки и, прислушиваясь к его удаляющимся шагам, думала: «Как уверенно, по-де-

ловому идет он к себе домой. Интересно, и ко мне шел так же?».

Она озябла на прохладном полночном ветерке и поспешила домой. Закрыв балконную дверь на засов, легла в постель, еще хранящую тепло Варлама.

С первым криком петуха раздался осторожный стук в дверь.

Маквала встала, накинула халат, на цыпочках подошла к двери, приложила к ней ухо и, когда стук повторился, шепотом спросила:

— Кто там?

— Это я, Маквала, Хухиа.

— Чего тебе, Хухиа? — Маквала спиной прижалась к двери, высоко подняла голову. — Я же сказала тебе, не приходи!

— Открой на минутку, — в горле у парня пересохло от волнения.

— Не открою. Иди домой.

— Уйду, скажу только слово и уйду.

— Поклянись матерью.

— Открой, Маквала. Только одно слово и уйду.

— Говори, я тебя хорошо слышу.

— Открой, а то вот здесь же покончу с собой.

Только Маквала приоткрыла дверь, как очутилась в мощных объятиях Хухии.

— Моя радость... Любовь моя... Жить без тебя не могу... — бормочет Хухиа, в исступлении целуя плечи Маквалы, губы, шею, пальцы.

— Отпусти, задушишь... Ты что, рехнулся? О боже, ты пьян, что ли?

— Что ты! У меня целый день маковой росинки во рту не было. До полуночи работал внизу, у гранатовой рощи.

— Что там делаете?

— Целину поднимаем, тунг сажать будем.

— А приживется? Пусти, наконец... Думаешь, приживется?

— Не знаю.

— Отпусти руку. Мчади* тебе разогрею. Перекусишь.

* Кукурузная лепешка.

— Ничего не хочу, — Хухиа все целует и целует Маквалу. (Вам приходилось, верно, слышать об огненных, трепещущих поцелуях? Именно так целовал Хухиа Маквалу).

— Лобио у меня есть.

— Не хочу, клянусь тобой.

— Хухиа!

— Что, родная?

— Пусти меня. Сядь вот сюда на минутку. Поговорим по-человечески.

Хухиа отпускает Маквалу. Расстегивает ворот рубахи, дотягивается до кувшина, стоящего в углу, и долго, не отрываясь от горлышка, жадно пьет. Вода проливается ему на грудь.

— Небось, теплая. С утра стоит.

— Хороша! — говорит Хухиа и снова заключает Маквалу в объятия на этот раз вместе с балконным столбом.

— И не стыдно тебе? — пытается вырваться Маквала.

— Никто не видит, все, кроме волков и шакалов, спят.

— Что я тебе вчера говорила?

— Люблю тебя, Маквала, не могу без тебя.

— Ладно, я это уже слышала. А дальше? Дальше что?

— Я хочу быть с тобой, все время, понимаешь?

— Каким образом, парень, каким?

— А вот таким, возьму и женюсь на тебе.

— Хухиа, пусти! Сядь и выслушай меня. Если ты еще раз заикнешься о любви, я перестану с тобой разговаривать, знай. Вообще уеду из села так, что ни одна живая душа не узнает обо мне.

— Почему?

— Ты знаешь почему, не заставляй меня повторять то, что я уже тебе говорила.

Хухиа Манагадзе — тракторист. Ему двадцать семь лет. Живут они вдвоем с бабушкой в доме неподалеку от конторы. Больше у него никого нет. Родители его давно разошлись. Мать вышла замуж за врача из Хони, когда Хухии было всего три года. А ровно через год женился его отец Карпе Манагадзе, который вскоре после этого переселился в районный центр. И

отец, и мать — каждый в отдельности — пытались забрать мальчика к себе, но вырвать Хухию из рук бабушки не удалось. Хухиа души не чает в бабушке, ну а как бабушки любят внуков, говорить излишне. Хухиа — умелый парень. В прошлом году привез стройматериалы и начал строить новую оду, а осенью собирался жениться (свахи по его просьбе уже подыскивали ему достойную пару).

Во всей этой истории, не буду кривить душой, и доля маквалиной вины. Как-то ранней весной пасмурным днем она улыбнулась ему и попросила подрезать лозу у себя в виноградной аллее. А Хухиа—услужливый малый.

— Когда я с тобой, мне все ясно. А как выйду отсюда, в голове мутнеет. Понимаешь или нет?

— Конечно, понимаю, потому и говорю: нельзя так.

— А я не могу без тебя, — он целует Маквалу в глаза.

— Сможешь... Должен смочь. Ты еще ребенок. Только начинаешь жить. Твоя бабушка руки на себя наложит, если ты женишься на мне. Для меня, что ли, она растила тебя? Я свое уже прожила. Кончена моя жизнь, к чему тебе сорокалетняя старуха. Да и детей у меня не будет... Ты слышишь меня?

— Слышу.

— Тогда, мой мальчик, если ты хоть капельку уважаешь меня, хоть капельку любишь, не приходи больше сюда.

— Но ведь и ты любишь меня?

— Кто тебе сказал?! Не верь этому! Разве я способна любить? Прошло то время.

— Что мне делать? — в голосе Хухии звучит отчаяние.

— Я приголублю тебя, мой мальчик, и ты пойдешь домой. И не приходи больше, ладно, ты ведь не придешь?

— Постараюсь, — не совсем уверенно отвечает Хухиа, подхватывает Маквалу и несет к кровати.

— Любишь меня?

— Нет, смотри, задушишь...

— А сейчас... любишь.. любишь?

— Нет... нет... нет...

На рассвете, когда Хухиа выбежит по мокрой траве за калитку и впопыхах забудет затворить ее, Маквала ничком упадет на кровать и заплачет навзрыд.

* * *

А утром «передвижной библиотекарь», взвалив на спину сумку с книгами, начинает обход деревни.

Гордо выпрямившись, покачивая бедрами, проходит она мимо группы мужчин с мотыгами, собравшихся возле дощатого моста. «Не убивай, Маквала!» — несутся ей вслед непристойные смешки. «Чего рот разинул, Кокиела, посмотри-ка лучше за своей женой!» — беззлобно бросает Маквала, удаляясь своей кошачьей походкой.

Маквала заходит во все дома подряд, в том числе и к Кириле и Варламу. Раскладывает книги перед хозяйкой, украдкой бросает взгляд на балкон. Накинув на плечи пиджак, входит в комнату глава семейства, но Маквала даже не смотрит в его сторону.

— Куда спешишь, Маквала, или я своим приходом обидел тебя?

Но Маквала торопится, у «передвижного библиотекаря» тысяча дел.

И только в один дом не войдет сегодня Маквала. Перелезет через забор усадьбы Герсамия, издали обойдет его, лишь бы не пройти мимо калитки. Это дом Хухии.

«Чем скорее он перебесится и выкинет дурь из головы, тем лучше для него», — думает Маквала.

И убеждает себя, что поступает правильно.

А ведь это стоит ей горьких слез и равносильно смерти!

Перевод Л. Татишвили.

●

МИШВЕЛАДЗЕ Реваз Авксентьевич. Род. в 1940 г. Доктор филологических наук, профессор, работает на кафедре современной грузинской литературы ТГУ. Автор восьми сборников новелл. Произведения его переводились на русский, украинский, белорусский, литовский, эстонский, армянский, чешский и польский языки.

ეროვნული ბიბლიოთეკა

Ушанги РИЖИНАШВИЛИ

ДАТИКО-БАНКИР

Рассказ

«РАССКАЖУ, ей-богу, расскажу... Только, знаешь, каждому фрукту свое время. Почему я до сих пор не рассказывал? Да просто время не приспело. А ты наберись терпения. Мужчине надо быть терпеливым, иначе... Вот, к примеру, подумал ты о том, что ни единая душа на свете не живет сама по себе? Смотришь на меня и думаешь, а как же, дескать, ты, Габо, ведь один-одинешенек живешь на белом свете — ни жены, ни детей, ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер, сам ты себе и слуга и хозяин. Оно-то вроде бы так, да не совсем. Были у меня и отец с матерью, царствие им небесное, да будет им светло на том свете, и брат был, он до рождения моего умер, и сестра была — давно она из жизни моей ушла, следов не найти, а помню я ее, да как еще помню, сердце ноет, как о ней подумаю, вот как я ее помню... И друзья у меня есть, ты вот, друг ты мне, правда ведь? А я о чем говорю? И знакомые просто — здравствуй, до

свиданья, а все знакомые, незнакомому ведь не скажешь здравствуй, как живешь? То-то и оно. Кто еще? Соседи у меня есть, добрые люди, если подумать... Вот и получается, что если начну я про себя рассказывать, обо всех рассказать придется — о ком больше, о ком меньше, а нельзя без них о себе. Судьба человека, как магнит в коробке с гвоздями — вытянешь его, а гвозди за ним тянутся... Хорошо это или плохо, кто его знает, одному, может, и спокойней бы было, да вот никак не получается, чтобы человек ото всех отрезан да отгорожен жил. Так что не неволь ты меня понапрасну. Рассказ про Датико-банкира долгий, так просто обо всем не вспомнишь. А надо бы — рассказывать так рассказывать. Сегодня что у нас? Четверг? Так. В понедельник будет в самый раз, хотел бы раньше, да не получится никак. А ты потерпи, до понедельника время есть вспомнить, а вспомнить есть что, ох и есть...»

Мы сидим на каменных ступеньках случайного подъезда. Корзины с провизией, сумка и большой пакет пристроились рядышком. Жарко. А идти нам далеко, да еще с грузом. Вот мы и присели отдохнуть. Безрукавка Габо промокла от пота, да и я не в лучшем виде. На голове у Габо соломенная шляпа с криво обвисающими книзу полями, у меня платок, связанный узелками, но от палящего солнца никуда не деться — жжет и жжет. Собаки, высунув долгие синеватые языки, лежат в непрочной тени деревьев. Чуть в отдалении от них — на всякий случай — лежат кошки, разморенные и сонные. Но собакам вовсе не до кошек. Жара помирила их, ненадолго, правда, поближе к вечеру мир опять будет нарушен — рионский ветерок вернет собакам злой азарт, а кошкам увертливость.

Все так, но чего этот старик сидит в своей коляске прямо на солнцепеке? Тень от туго накрахмаленной, обтрепанной панамы не прикрывает даже глаз, немигающе уставившихся в пустоту прямо перед собой. Густые седые брови топорщатся над глубоко запавшими линялыми глазами. Крупный горбатый нос, обтянутый легой кожей, поддерживается изжелто-сивыми усами, переходящими в серебряную аккуратно подстриженную бородку, точно такую же, как на фотографии у

моего давно, еще до моего рождения умершего деда. Борода подступает чуть ли не к самым глазам, а между глазами и ровным краем бороды — синеватые мешки. Шею старика плотно охватывает белый шелковый платок, повязанный широким узлом. Белая крахмальная сорочка выглядывает из-под отворотов порыжевшего белого чесучового пиджака. Его полы свободно лежат на коленях, обтянутых светлыми брюками с острыми, как лезвие ножа, стрелками. Старик сидит прямо, обхватив жилистыми руками толстые шины на колесах коляски. Плечи у него широченные и кажутся еще шире из-за холмистых треугольных «лип». Жидкие потоки солнца льются на старика со всех сторон, а он сидит неподвижно, словно сделан из гипса. Я видел его много раз, но только теперь присмотрелся к нему поближе. И инвалидная его коляска совсем не походит на коляски, которых так много развелось в городе после войны: массивные никелированные части матово поблескивают на солнце, рябит густая паутина спиц на колесах, мягкое кожаное сиденье с высокой спинкой и подголовником легко несет на себе грузное тело старика, а его ноги в тупоносых штиблетах плотно стоят на решетчатой подставке.

Мне всегда казалось: стоит ему захотеть, и он без всякого встанет и запросто пройдется перед всеми в своем щегольском наряде, а в коляске сидит лишь из чистого форсу. Когда с ним кто-нибудь здоровался, а здоровались с ним все прохожие — взрослые уважительно, а ребята с робостью, — он с трудом тянул свою могучую руку со вздувающимися под материей мускулами к панаме, снять или просто приподнять ее, но рука застывала в воздухе где-то на подступах к уху, так и не дотянувшись до панамы. Сидел он на улице целыми днями, во всяком случае, когда бы я ни проходил мимо его дома, он всегда был тут. Если шел дождь, над коляской возникал огромный черный зонт, похожий на нахохлившегося ворона. В ветреную погоду на плечах старика появлялся плед в крупную клетку. Зной, даже такой, как сегодня, был ему, видать, нипочем. Не человек, а изваяние, ей-богу. Дви-

гался ли он вообще? Мне ни разу не довелось этого видеть. Где-то за низкой живой изгородью хлопотала старуха в черном, из дому доносился неутихающий говор радио, видно, старик изредка прислушивался к нему — это было заметно лишь по тому, как менялось выражение глаз — взгляд их делался не столь отрешенным, и все.

Любопытство не давало мне покою. В этом старике, я был уверен, таилась какая-то тайна, но какая? Я не раз спрашивал о нем у бабушки, но бабушка лишь вздыхала, жалостливо качала головой и отмалчивалась. Спрашивал я и у Габо, а он всегда принимал торжественно-суровый вид и начинал глубокомысленно философствовать, вроде сегодняшнего, но рассказывать о старике не очень торопился. Правда, сегодня мне удалось выклянчить у него обещание. Что ж, придется набраться терпения еще на несколько дней — Габо упрямый, как ни хитри, ничего не добьешься, пока сам не захочет...

— Пора нам уже, не то вся провизия испортится, и немудрено в такую жарищу, видишь, как зелень обмякла, еще немного и завянет, хлопот с ней потом не оберешься, никакая вода ее не оживит. Совестно мне тебя за собой тащить, но от тебя разве отвяжешься? Хочешь, ты посиди тут — тенечек как-никак, а я быстренько обернусь — одна нога там, вторая тут. Ладно?

При этих словах Габо я решительно встаю и хватаюсь за ручки корзин, хотя, говоря честно, мне до смерти неохота двигаться. Габо пытается отобрать у меня одну корзину, но я не поддаюсь и иду вперед. Габо берет пакет под мышку, в руку сумку и торопливо семенит за мной. Мы проходим мимо старика, которого все зовут почему-то Датико-банкиром, и здороваемся с ним. Рука его привычно тянется к панаме, но застревает на пути к ней. Я иду не оглядываясь, и любопытство вконец одолевает меня. Еще четыре дня — и я узнаю все, но каково ждать целых четыре дня? Короткая улица сворачивает в тупик, и мы, дойдя до его конца, дальше идем задами — так прохладней. Упрямо нагнув влажную от невысыхающего пота голову, я взрезаю тугой горячий воздух, то и дело слыша за спиной тонкое свистящее дыхание Габо. Надо притво-

риться уставшим и устроить еще один привал, иначе уговорить его отдохнуть никак не удастся. Я ставлю корзины на землю и с размаху бросаюсь на низенькую скамеечку, врытую в землю под пахучим от зноя ореховым деревом.

Габо подозрительно на меня смотрит, а я пыхтя вытираю мокрый лоб рукавом рубашки. Это убеждает Габо, и он, вздохнув, присаживается рядом со мной. «И то правда, бог с ней, с этой зеленью, авось не завянет, помидоры, что твои камни, ничего с ними не случится, вот только инжир бы не скис. Нет, вроде бы ничего, держится. Знаешь, жару я переношу хорошо, вот только ветра не люблю, несет он меня, как сухой лист, спасу от него нет никакого. А ветры у нас, почитай, каждый божий день дуют, разбежится с моря и мчит, как почтовый поезд, даже рионскую воду гонит, потягаешься с ним, как же. Тяжко в ветреный день работать, скажу я тебе, но звук ветра я уважаю. В камине гудит он славно, лежу, бывало, прислушиваюсь, а он, как сердитый человек, бормочет, впору заговорить с ним, потом вдруг ка-ак вскрикнет, ка-ак засвистит, уши вянут, натешится, подустанет и снова бормочет — иногда ночь напролет его слушаю, все равно не спится — каждая косточка ему отзывается, у кого к дождю, а у меня под ветер...

Слушай, Тенго, а ты не обижаешься, что я тебе про Датико-банкира не рассказал? Да ты не обижайся, ладно, прошу тебя, про него так просто да между делом не расскажешь, большой он человек, а про большого человека и рассказ долгий требуется. Все я тебе про него расскажу, все, что слышал, видел, вот ты и поймешь тогда, что не мог я это просто так рассказать. Уговор дороже денег... Отдохнул ты уже, может, пойдем тогда, не то, как пить дать, потеряю я своего клиента. И кому, спрашивается, вялая зелень да дохлые фрукты нужны. Жара не жара, а провизия должна свой вид сохранить...»

И мы вновь трусим по вымершим улицам — я впереди, Габо чуть позади. Наконец провизия передана из рук в руки, хозяйка начала было ворчать, но,

увлекшись потрошением объемистых корзин и сумок, и вовсе забыла о нас. Габо всегда дожидался, пока выложат все продукты, чтобы при необходимости дать пояснения, а то и оправдаться за невзначай помятые помидор или персик. Мы сидим под прохладным шатром ореховых листьев и смотрим, как постепенно наполняются тазы, кастрюли, блюда: неужели это мы приперли сюда такую прорву продуктов, да их и на грузовике, верно, было не дотащить. Габо задремывает, прислонившись спиной к могучему стволу и смешно чмокая тонкими губами. Крупные капли пота не успели просохнуть на его морщинистом лбу под сползшей набекрень и чуть приподнявшейся соломенной шляпой.

«Чего зря глаза пялишь, лучше бы помог, не видишь разве, сколько мой муженек денег понапрасну перевел. Да этими продуктами полк прокормить впору, а он еще на вас чер-те сколько на ветер пустил. Ноги его отныне на базаре не будет, помяни мое слово. Вот эти тазы на веранду отнеси, а кастрюлю — прямо на кухню».

Я, словно не слыша, продолжаю смотреть на Габо. Хозяйка, зло глядя на меня, повышает голос, но у меня теперь одна только забота — как бы она не спугнула хрупкий сон моего уставшего друга, черт с ней, с этой ведьмой, отнесу, не отвалятся же руки, лишь бы она замолкла хотя бы на пять минут. «Так и быть, отнесу, только знайте, я не подряжался таскать ваши тазы». «Все вы вымогатели, глаза бы мои вас не видели, только и норовите, как с людей последнюю шкуру спустить». Вот тебе и на, делай после этого добрые дела, бог с ней, хотя бы не визжала, что ли. Добилась-таки своего, разбудила Габо. Увидев, что я тащу тазы на веранду, он сначала заморгал глазами, а потом побагровел. У меня мигом пропала всякая охота таскать тазы, и я опустил их там же, где стоял,— у лестницы на веранду. Габо молча двинулся к калитке, и я поспешил за ним. Хозяйка, задохнувшись от злости, собиралась было изрешетить нас новым потоком ругани, но так, видимо, и осталась с открытым ртом — калитка с грохотом захлопнулась за нами.

Шли мы молча. Габо был явно удручен происшествием и, стараясь не смотреть на меня, виновато мор-

гал глазами. «Не сердись, Габо, ничего ведь не произошло». «Да я не на тебя сержусь, вот люди, а?»—и безнадежно махнул рукой. Я тронул пальцами его острый локоть, и Габо мигом смягчился. Теперь он улыбчиво посматривал на меня покрасневшими от солнца глазами и хмыкал, то ли подыскивая нужное слово, то ли придумывая что-то очень уж забавное. Но я краем глаза вновь наблюдал за давешним стариком. Он все так же прямо сидел в своей коляске, но глаза его были плотно закрыты фиолетовыми веками. По радио надрывный голос пел «Вернись в Сорренто». У калитки, скрестив руки на впалой высохшей груди, стояла женщина вся в черном, с черной косынкой, наползшей на нос,—глаза ее не были видны, но все же можно было догадаться, что она смотрит на старика. Габо проследовал мимо старика крадучись, чуть ли не на цыпочках, и я невольно последовал его примеру.

Когда мы были уже в конце улицы, я, не стерпев, оглянулся. Женщина склонилась над коляской и, видно, что-то говорила старику. Я увидел только его ноги в тупоносых штиблетах и никелированные шарниры коляски, размножавшие и фокусирующие лучи солнца — яркие кинжальные отсветы их даже на расстоянии резали глаза. Габо что-то говорил и поминутно тянул меня за руку, но я все не мог отрешиться от только что виденной картины, и слепящие круги от никеля коляски все еще плыли перед глазами. Я рассеянно попрощался с Габо и, не договорившись с ним о новой встрече, зашагал по беспощадно солнечной стороне улицы к своему дому. Габо озадаченно и потерянно глядел мне вслед — я догадался об этом, ощутив знакомое жжение между лопаток, как бывало всегда, когда Габо огорчался. Повинуясь этому взгляду и чувствуя смутную вину, я обернулся. Маленькая фигурка Габо, поглощенная тенью дома, сгорбившись удалялась от меня.

На следующий день я с самого утра прибежал на базар, но о Габо ни слуху, ни духу. Я обегал все торговые ряды, заглянул в лавки, духанчики и даже на водяную мельницу, находившуюся неподалеку... Габо

нигде не было видно. Может, он ушел в первую свою ходку, время для базара уже позднее. Первую ходку Габо не доверяет даже мне. Так и есть, наверное он где-то задержался, пока выгружают провизию.

Я успокаивал себя, но на душе у меня было скверно. Отчего и сам не знаю, возникшее вчера чувство вины перед Габо все еще не покидало меня. Мимо, спеша и толкаясь, проносились утренние покупатели, гул, говор, выкрики, ругань сотрясали воздух. Запахи свежей зелени, прогревшихся на раннем, но уже жарком солнце фруктов кружили голову. Вдруг я почувствовал неодолимый голод — утром я всегда перекусывал на скорую руку, а сегодня даже маковой росинки во рту не держал. И денег, как назло, не оказалось ни гроша. Вернуться домой? А вдруг я пропущу Габо? Что он подумает обо мне? Стараясь заглушить голод, я наклонился над краном. Крана, собственно, не было, лишь неровно обрезанная труба, из которой выливалась толстая, плотная струя воды. Вода оказалась теплой, к тому же со всех сторон меня теснили крестьяне с самой разнообразной посудиной в руках — воду набирали для поливки уже слегка увядшей зелени, чтобы она выглядела поаппетитней.

Так и не напившись, я отошел в сторонку, и тут чья-то рука осторожно тронула меня за локоть. Не чья-то, а Габо, потому что его прикосновение я мог отличить от тысячи других. Но я не спешил оборачиваться. И только после того как прикосновение повторилось, я медленно повернулся. Передо мной стоял вовсе не Габо, а какой-то веснушчатый малец с длинным пупырчатым огурцом в руке. «Тебя звать Тенго?» «Какой еще Тенго?»— досадуя, что ошибся, резко переспросил я. «Ну да, Тенго, я слышал, так Габо звал тебя». «Габо? А ты его знаешь? Где он?». «Чего это я тебе буду говорить, если ты не Тенго?». «Тенго я. Тенго только скажи!». Это начинало раздражать меня, но надо было наконец узнать, где же все-таки Габо. Веснушчатый смачно откусил огурец и, пуская слюни, стал жевать. Еще немного, и я бы пристукнул его. «Откуда мне знать, где Габо, что я, шпион, что ли?». «Так ты скажешь или нет?». Видно, в голосе моем прозвучала угроза, потому что малец вдруг резво отпрыгнул в сторону и настороженно стал ждать моих даль-

нейших действий. Потом он неожиданно сорвался с места и, петляя в снующей толпе, пустился наутек. Отбежав на порядочное расстояние, он оглянулся на меня и, ухитряясь по-прежнему жевать, визгливо крикнул, пропоров острым, как шило, голоском слитный гул толпы: «Эй, ты, Тенго-ценго Габо на мельнице сидит, на мельнице, понял ты, Тенго-шлего?».

Толпа ошалело обернулась на пронзительный вопль веснушчатого дуралея, а я спокойно пошел к мельнице. Чего еще ждать от сосунка? Вот когда я пожалел, что не отодрал его за оттопыренные уши. Впрочем, бог с ним, главное я знаю, где искать Габо. У мельницы, как и прежде, не было ни души. Я было подумал, что рыжий надул меня, но тут же в душном мраке мельницы увидел соломенную шляпу Габо. Габо сидел на тугом бокастом мешке и сосредоточенно следил за ленивыми движениями голого по пояс мельника, колдующего над желобом. Шумела вода, падающая на колесо, скрежетали жернова, сухо блестела струйка муки. Я встал в дверях, не решаясь войти внутрь. Мельник слыл нелюдимым и к тому же нечистым на руку. Он терпеть не мог праздных посетителей, а может, попросту избегал лишних глаз. Во всяком случае, даже тогда, когда мне приходилось таскать сюда кукурузу на помол, оставаться в мельничном зале я не любил.

А Габо всегда сидел тут же, следя, как бы мельник не отсыпал муку себе — ведь клиенты могли заподозрить в нечестности не мельника, а его самого, допустить же такое Габо никак не мог. Я хотел было свистнуть или как-нибудь еще привлечь внимание Габо, но сразу же передумал: во-первых, мог заметить мельник, а это мне вовсе не улыбалось, и, во-вторых, что-то мешало мне сегодня звать Габо таким образом, а что, я и сам не знал. И Габо, как назло, не оглядывался, целиком поглощенный движением рук мельника. Что ж, придется дожидаться его здесь. А солнце уже набрало силу и его лучи одолевали меня — я стоял на самом солнцепеке. И еще этот чертов голод — сосет и сосет под ложечкой. Мимо меня, согнувшись в три погибели под

тяжестью огромного бугорчатого мешка, бочком протиснулся в дверь багроволицый коренастый здоровяк в галифе и на босу ногу. Он, кряхтя и ругаясь, сбросил мешок со спины, разом присел на приступочку и принялся рукавами полотняной рубахи вытирать пот с лица.

«Чуть не задавил меня этот проклятый мешок, недолго и грыжу нажить на старости лет, пудов шесть в нем, не меньше. Несладко, небось, грыжу таскать, а, Габо?». Габо, не отрывая глаз от рук мельника, хмыкнул: «Такому буйволу, как ты, ничего не сделается, а вот на языке у тебя грыжа не грыжа, но типун непременно выскочит, помяни мое слово, Сардион-сквернослов». Сардион хрипло, захлебываясь загрохотал. Багровое лицо его посинело, а круглый выпяченный живот, втиснутый между колен, заколыхался. Густо обсыпанный мучной пылью, мельник сумрачно оглянулся, презрительно мазнул взглядом по оскалившемуся лицу Сардиона и процедил сквозь зубы: «Дармовые харчи да вино силу, видать, не дают». «По-твоему выходит, что мужчина непременно надорваться должен, как Габо и Датико-банкир? А ты посмотри, кто сегодня мужчина — я или эти бедолаги? Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала, небось и я не хуже тебя смогу мешок с чужим добром в свой дом затащить...».

Лицо мельника, и без того белое от муки, побелело еще больше. Он сжал было кулаки, но тут взгляд его упал на мешок с кукурузой, принесенный Сардионом, и кулаки снова разжались. Не останавливать же мельницу из-за гнилого языка Сардиона, хоть и дрянь человек, а все клиент...

Габо сидел сгорбившись. Глаза его уже не следили за руками мельника, а были опущены к земляному полу мельницы, отбеленному мучной пылью. Я быстро отошел от двери, словно ничего не видел и не слышал. Зло выплюнутое Сардионом-сквернословом имя Датико-банкира какой уже раз всколыхнуло мое любопытство. Габо и Датико-банкир. Почему Сардион назвал их вместе, да еще обозвал бедолагами? Что может быть у них общего — у Габо-разносчика и Датико-банкира?

Тут я вспомнил осунувшееся лицо Габо, его взгляд, упершийся в отбеленный мукой пол, и покраснел от стыда. Габо отчего-то сделалось больно, а я здесь

умираю от пустого любопытства... Мысль эта горько уколола меня, и я решительно направился к двери мельницы. Габо суетился возле двух небольших мешков, заполненных мукой. Я быстро подошел к нему, отобрал у него веревку и, отмахнувшись от возражений, принялся крепко обвязывать вялые шейки мешков. «Откуда ты взялся здесь?» — Габо был рад, хотя и пытался нахмурить брови, обсыпанные мукой. «Да вот проходил мимо...» Габо недоверчиво выслушал мое объяснение, потом хмыкнул, коротко присел и тут же выпрямился с мешком на спине. «Ты постереги тут мешок, а я скоро вернусь, ладно?». «Нет, не ладно, и я с тобой, мешок легкий». «Да ты весь выпачкаешься в муке». «Подумаешь, ничего страшного, отряхнусь». Габо знал, что отговаривать меня бесполезно, поэтому молча двинулся к выходу. Сардион, разинув гнилозубый рот, во все свои кабаньи глазки смотрел на меня. Мельник покосился на мешок, который я ухватил за шейку, потом перевел взгляд на Сардиона. «Помоги мальчику, Сардион, авось не надорвешься». Сардион чертыхнулся, но мешок поднял и ловко пристроил мне на спину. Я шел, согнувшись под тяжестью муки, изо всех сил сжимая левой рукой шейку мешка, а правой поддерживая снизу.

Габо уже обогнул длинный ряд точильщиков ножниц, ножей, топоров и пил и направился к Риони. Я поспешил за ним, хотя идти с каждым шагом становилось все трудней и трудней: мешок то и дело сползал на бок, вырывался из рук и больно давил на позвоночник. Но Габо шел впереди, и я не хотел ни на шаг отстать от него. Ни разу не присев и даже не передохнув, мы дотащили мешки по назначению. Мы сдали муку хозяйке и, отряхнувшись, молча направились назад к базару. Не клеился у нас разговор, что-то случилось, а что — трудно было сказать. У меня с непривычки ныли руки, болела спина, подкашивались ноги, да и Габо выглядел не лучше. Не то чтобы мешки были очень уж тяжелы, к тяжестям нам было не привыкать, нас утомило какое-то непонятное чувство неловкости, неожиданно возникшее между нами.

Так, не перекинувшись ни единым словом, дошли мы до базара. У входа Габо, принуждая себя не смотреть на меня, глухо сказал: «Чего-то не по себе мне сегодня — неможется как-то, и плохо спалось к тому же. Пойду-ка я домой, отлежусь немного, может, отойду. А вечером давай встретимся, коли у тебя дел других нет, ладно? В Цулукидзевском саду, возле дуба. И если не расхотелось тебе еще, расскажу я про Датико-банкира, слово есть слово...» Я обрадовался, но не подал виду. «Часиков в восемь?». «Зачем же так поздно, рассказ мой долгий, в семь будет получше». «В семь так в семь». И Габо ушел, едва волоча ноги, все еще не распрямив спины, согнутой тяжестью мешка.

До вечера было невероятно долго ждать. Голод уже не напоминал о себе, и я решил пойти на Риони искупаться. Солнце палило нещадно, и огромные белые валуны, мощно выпиравшие из сильно обмелевшей реки, пронзительно отражали солнечный свет. Мальчишек на берегу было, как всегда, много. Вялые от жары, они недвижно лежали на камнях, видимо, умаявшись от долгого купания в ледяной воде. Некоторых из них я знал, но дружбу ни с кем не водил. Для них я был тбилисским кинто и провизионщиком. Задираться они не задирались — презирали, в упор не видели. Меня это как-то не трогало, а вот Габо сердился всерьез. «Дурачье, видать, мозги у них поотшибало, даром, что ли, в Риони вниз головой с моста сигают. А впрочем, зря это ты со мной водишься, с ними тебе повеселей было бы». И смотрел на меня простодушно-испытующе. Повторялись эти разговоры чуть ли не каждый день, и каждый день на лице моем появлялась презрительная гримаса: «Да с ними от скуки помрешь, не то что с тобой». «Правда, да?». Ну, конечно, это была правда, хотя, честно говоря, я не мог понять, почему моя дружба с Габо должна была мне мешать дружить с этими ребятами..

Я подошел к самой воде, закручивающейся возле камней, словно штопор в крошащуюся пробку. Прохлада ножом полоснула меня по лодыжкам, а чуть погодя я ощутил ее всем телом. Солнце было сзади, за спиной, его горячие потные лапы тяжело лежали на моих плечах, а спереди была влажная, шумная прохлада, от-

галкивающая, вышибающая зной из груди, отгоняющая его ото лба. Я быстро разделся и, побросав одежду на камни, лег грудью на мелкую, шумливую воду, щекочущую, толкающую, сдвигающую меня в сторону, но едва покрывающую тело. Плавать не хотелось, хотелось просто лежать неподвижно, легко, ощущая резкий, освежающий напор реки. Снова требовательно засосало под ложечкой. Я встал, натянул брюки прямо на мокрые трусы, и пошел мимо исподтишка подглядывающих за каждым моим шагом мальчишек. Брюки мгновенно намокли и влажно облепили ноги, и от этого было приятно — меньше ощущалась жара.

Я чуть ли не бегом направился к дому и через сад вошел в дом, чтобы избежать гнева бабушки по поводу мокрых брюк. В большой зале царили полумрак и духота. Ставни весь день были закрыты, чтобы как-то умерить зной. Я быстро переоделся и вышел на кухню. Заслышав мои шаги, бабушка встрепенулась и обратила ко мне свое сморщенное впалогубое лицо в бисеринках пота.

«Слава богу, проголодался небось, не то не дождаться бы тебя до самого вечера. Ну что, набегался за Габо? В такую жару голову напечешь — не приведи господи, еще удар солнечный схватишь, отчитывайся да оправдывайся я потом перед твоими родителями... И чего это я разговорилась, садись, поешь...»

Недолго думая, я набил рот мчади, да так, что даже для сыра места не оставил. Шипел и постреливал керогаз, пар легонько подбрасывал крышку кастрюли, и запах разварившегося лобио приятно щекотал ноздри.

«Габо и Габо, с утра до вечера Габо. Я что, я не против, человеку помочь надо, бедолага он, один как перст в целом свете, да и тебе невредно поработать. Все глаза небось выел, книжки читал. Но ведь нельзя каждый день. И люди мне сердце проели, негоже, дескать, твоему внуку, сыну своего отца провизионщиком подряжаться. Они не со зла это, нет, ты не подумай, просто о чести нашей заботятся. Честь, она от безделья страдает, когда человек баклуши бьет, а от труда ее только прибывает. Так что ты не слушайся

Ушанги Рижинашвили. Датико-банкир.

никого, подсобляй Габо, только и меня не забывай, я ведь бабушка тебе как-никак».

Не поймешь мою бабушку, то ли журит, то ли хвалит, и туда и сюда. Я жую и жую, тихий шамкающий бабушкин голос едва слышен за шумом керогаза, говорит она на одной ноте, без всякого выражения, и это всегда успокаивает меня, навевая сон. Вот и теперь мне неудержимо захотелось спать. До семи еще далеко, соснуть успеется. Я аккуратно собираю желтоватые крошки мчади, рассыпавшиеся по тарелке, скатываю их в шарик и вместе с последним кусочком сыра отправляю в рот. Запив все это тепловатой водой из алюминиевой кружки, я встаю из-за стола.

«Что-то мне спать захотелось, дидеда», — я всегда зову бубушку так, и ей это очень нравится. «Поспи, сынок, в зале прохладно, только недолго, а то ночью не уснешь...» «Долго мне нельзя, к семи я должен в Цулукидзевском саду быть, разбуди, пожалуйста, если просплю». «С товарищем встречаешься или опять с Габо?» «Габо и есть мой товарищ, лучшего мне и не надо». «Габо, Габо, все тот же Габо, какой он тебе товарищ, когда в деды тебе годится? И чем он тебя приворожил, ума не приложу!».

Я ложусь на тахту в прохладном парусиновом чехле. Уткнувшись лицом в мягкую мутаку, я засыпаю сразу и уже сквозь плотную дрему ощущаю, как бабушка набрасывает на меня прохудившееся, жестко накрахмаленное пикейное одеяло.

И грохочущая коляска, ощетинившись никелированными спицами, ринулась на меня. Она была пуста, тяжела и массивна. Валуны плоско вылетали из-под ее колес и свистели над моей головой, словно выпущенные из пращи. Коляска мчалась прямо на меня, а ноги мои проросли, ушли по щиколотки в берег Рионы, и сойти с места нет сил. Хор мальчишек орет мне: «Провизионщик, провизионщик». Я оглядываюсь. Мальчишки стоят частоколом, отрезая путь к отступлению, и я затравленно смотрю на растущую, надвигающуюся коляску. Крик рвет гортань, ужас сминает и расплющивает лицо. Коляска заполнила все — она мчится сверху, с боков, отовсюду, и остановить ее ничто не сможет. И вдруг, когда колеса уже неотвратимы, в ней возникает старик с бородкой, в панаме с неровными

краями. Сияя глазами, он смотрит на меня, и лицо мое выравнивается, круглеет, гортань, вытолкнув крик с царапающими, саднящими краями, успокоенно замирает. Датико-банкир гладит меня по голове и голосом Габо говорит: «Я заждался тебя, где ты, где ты, где ты...»

Бабушка гладит меня по голове и говорит: «Не хотела я тебя будить, но уже семь. Ты ведь хотел проснуться в семь». Вставать нет мочи, но я встаю. Часы показывают семь. Я лихорадочно натягиваю брюки, майку, не расстегивая ремешков, сминая задники, сую ноги в сандалии и выбегаю на улицу. «Куда ты, поешь хотя бы», — кричит мне вслед бабушка. Я на бегу отмахиваюсь и мчусь вниз по лестнице. Лавируя среди наряженных людей, группами вышедших погулять на Багис-киде — обычный маршрут от театра к Цулукидзевскому саду, я сломя голову несусь к нашей с Габо скамейке под могучим дубом на самом берегу Рioни. Габо, сгорбившись и не доставая ногами до земли, усыпанной багровым крошеным кирпичом, уже ждет меня и от нечего делать разглядывает гуляющих. Он не видит меня, и я несколько минут огорченно топчусь возле скамейки. Вдруг он оборачивается, светло улыбается, обнажая желтые кривые зубы и бескровные десны. «Я заждался тебя, где ты до сих пор. А я подумал было, что ты уже не придешь». «Извини меня, Габо, я проспал». «Проспал? Это очень хорошо. Говорят, во сне растут, вон ты какой вымахал. В твоем возрасте мне ни в какую не удавалось вдосталь поспать, с того я, видать, и не вырос, таким вот и остался». Габо вдруг замолчал, задумался, и лицо его приняло беспомощно-скорбное выражение, как бывало всегда, когда он что-то вспоминал. В такие минуты я сидел молча, стараясь не мешать ему, но сегодня я был нетерпелив и вовсе не собирался ждать, когда Габо придет в себя. «А я во сне Датико-банкира видел». «Датико-банкира?» — переспросил Габо, но лицо его по-прежнему осталось скорбно-беспомощным, а это значило, что он по-прежнему был там, в тени своих воспоминаний. «Датико-банкира? Ах, да, Датико-банкира!» Габо сно-

ва замолчал, как будто мучительно пытался связать Датико-банкира с теми, о ком он думал мгновение назад. Теперь я не мешал ему вспоминать, Датико-банкир был назван, а больше ничего не требовалось. Русло было пробито, проложено, и воспоминания Габо потекут уже по нему.

«Тебе сколько сейчас? Пятнадцать, да? А в одна тысяча одиннадцатом году мне было двенадцать с небольшим. Заморыш заморышем, в чем только душа держалась, но грыжи у меня тогда не было, я ее потом нажил, надорвался, верно, немудрено с моей-то силой. Мечтал я большим вырасти и сильным, как Како-мясник, его еще «Бычья погибель» звали, был он единоутробным братом нашего Датико-банкира, я у него в ту пору на бойне работал. Поверишь, когда он по земле ступал — земля прогибалась, ей-богу, прогибалась, я сам собственными глазами вмятины эти видел, в ступню его размером. Рука у него с меня была, только я тощий, а она мясистая и бугристая от мускулов была, рубахи на нем лопались почем зря, стоило ему руку в локте согнуть, и не по шву, нет, где попало, а ведь материя не хлипкая была, парусина, попробуй разорви ее. Да что рубахи, бывало ему быков на бойню приводили, норовистых, не подступишься, веревки, как ниточки, рвали, поди зарежь такого. А Како его за рог схватит, задерет ему морду и кулаком по хребту. И что ты думаешь? Хребет пополам, из горла кровь, ведра только успевай подставлять, и бык, как подрубленный, на колени шмякается, не бык, а кипа хлопка. Да, кабы я всего этого своими глазами не видел, рассказывай не рассказывай — ни в жисть бы не поверил. Но куда от глаз своих денешься, хошь верь, хошь нет, а вот он бык на коленях, и задние ноги, что колья твои, в стороны разъезжаются... А еще он бычков пудов эдак на пятнадцать взвалит, случалось, на плечи—и идет как ни в чем не бывало.

Бычью кровь он пил кружкой, теплую, дымящуюся, дурно-пряно пахнущую, поднесет к губам, опрокинет кружку, а кровь густая, липкая, потом оботрет губы рукавом — сразу черно-багровым становился рукав. Како и меня к бычьей крови пристрастить пытался, дескать, вот где сила мужская хоронится, а я не могу и все тут — не идет в горло, от духа ее голо-

ва кругом, ноги подкашиваются и дурнота такая, что почитай наизнанку выворачивает. Если бы я сумел, кто знает, может, и жизнь моя по-другому пошла бы... Так вот, был я мальчиком при бойне, а у нас работа на всю ночь — к базарному утру поспеть надо — забить скот, освежевать, разделать туши. Како на это мастер — ищи не ищи, не было такого мясника. А добрый и ласковый — душа-человек, букашки не обидит, бывало, и меня он жалел, как человека жалел, словно с ровней обращался, хотя что я для него был — букашка букашкой, щелкни пальцем — мокрое бы место осталось... Что это я все о себе да о себе. Так вот, было у Како-мясника три брата — он самый старший, Датико-банкир — младший, тогда еще не назывался он банкиром, это потом его так прозвали — а посередке два брата — Эремо и Аги. Эремо — кузнец, Аги — краснодеревщик. Како-мясник и отцом им был и братом, всех на ноги поставил и в люди вывел. У Красного моста за базаром, чуть повыше, не туда ты смотришь, это где теперь театр стоит, там раньше торговые и ремесленные ряды были, лавки, духаны, мастерские разные. Собор там еще стоял — мы его французским называли, католический, значит, да он и сейчас стоит, знаешь, тот востроглавый, а католики все больше в той округе жили, мы их тоже французами называли, хотя какие они французы — те же грузины, но католики которые...

И бойня там же была. Вот возле самой бойни как раз и жили Како с братьями. Большой был у них дом, просторный, впрочем, для таких великанов другого и не придумаешь — все как на подбор — плечистые, рослые, только вот Како — тот поплотней был, но силой бог ни одного не обделил. В воскресенье выйдут, бывало, в город — все в чоха-ахалухах, с газырями, и кинжалы в серебряных ножнах — картинка да и только, пройти мимо них и то боязно, как бы не зашибли походя, не по умыслу какому недоброму, а так, невзначай. В городе шутили, что на свадьбы звать их вчетвером опасно, да и накладно. не то чтобы драчуны были — люди они мастеровые, солидные, достойные, нет —

вина, дескать, на них не напасешься, и то сказать, пуд вина на брата — вот и считай теперь, сколько получится, четырех пудов как не бывало. Работали они люто — дня от ночи не отличали и гуляли на славу, только держись. Как гуляли в те времена? Только воскресный день наступит, бывало, эдак в полдень, выходили мужчины в город, в самое лучшее наряжались, ходили чинно, степенно здоровались, останавливались, не спеша так беседовали, шутки шутили, но смеялись сдержанно, с достоинством. Вчера вроде все друг друга видели, перцу подсыпали, солью сдабривали, но что было вчера — будний день, дело есть дело, а воскресенье — божий день. Вот когда у фаэтонщиков работы было невпроворот. Рассядутся по фаэтонам и ездят по городу навстречу друг другу, поднимут приветственно руку, разъедутся и вновь повстречаются, и снова приветствуют друг друга, как по кругу крутились, на карусели словно. Потом сойдутся, бывало, либо в духане, а то и в домах — по очереди, то у одного, то у другого, в нарды играют, пока хозяйки столы накрывают, а после пир горой, в тостах состязались, в острословии да в песнях. Всяко бывало, без перепалок и ссор тоже не обходилось, вино одного веселит, другого с ума сводит, а третьего бешеным делает. Да, всяко бывало.

Был такой Чичико-скатерщик, смирный, ласковый, медовые уста, кожей торговал, никто от него, кроме «генацвале» и «чириме», слов других не слышал, но стоило ему вина через край хлебнуть, не узнать человека — и тот вроде, да не тот. Странность одна у него была, на свадьбе или на пиршестве каком, только уходить восвояси надумает, привяжет исподтишка скатерть к ремешку своему поясному и идет. Скатерть за ним ползет, и все, что на ней, оземь брякается — еда, посуда, кувшины с вином. Как его ни вразумляли — кулаком ли, словом, ничего не помогало. Следили за ним в сто глаз, а он все одно исхитрится, свое сделает. Наутро конфузится, глаз от стыда поднять на сотрапезников не смеет, а как напьется — все туда же. Да, всяко бывало... Опять меня на бок отнесло. Так о чем я? Да, да, о братьях наших. Только вот прежде о борьбе надо французской вспомнить, она французской и была, не такой, как наша, почудней да

позамысловатей. Борьба-то французская, да вот борцы тут были всякие, отовсюду к нам налетали, видно, слышали, что народ у нас в городе праздничный, силу уважает, да и сам силой не обделен. Греки к нам жаловали и германцы всякие, австрияки и даже черный один, совсем черный, я поначалу думал, что он нарочно в саже вывалялся, чтобы позабористей да пострашней быть, ан нет, оказывается, просто черным его мать родила, верно, и сама она черна была, иначе откуда бы он такой взялся? Натянут, бывало, брезент на площади, там, где теперь милиция, скамейки сколотят одну над другой, выше и выше, сколько выдержат — раз грохнулись они, и то сказать, немудрено, народу на борьбу набивалось — страсть, на месте одного по двое, а то и по трое сиживало — счастье, целы все остались, а ведь могли на тот свет запросто без завещания отправиться — кто руку, правда, сломал, кто ногу, но на другой день все на своих местах, как ни в чем не бывало — один на другом сидят. Како-мясник и братья его первый ряд никому не уступали — вчетвером восемь билетов брали — с такими-то плечами нельзя им иначе было. Како тот целых три места занимал, не меньше Эремо и Аги — те по два, вот и получалось, что на Датико одно только место и приходилось, на одной ягодице, бывало, сидит, но младший на то и младший, чтобы к старшим уважение иметь.

С той самой борьбы и дала петлю жизнь Датико. А до той поры был он на подхвате у братьев, каждому плечо подставлял — ночью на бойне Како подсобляет, утром, глянь, у Эремо молотом поигрывает, меха качает, а вечером у Аги фуганком да долотом орудует. Хотели его к делу к одному какому-нибудь приспособить, да не лежала у него душа ни к бойне, ни к кузне, ни к столярке — так и ходил от брата к брату. У тех жены с выводками ходят, дом держат, а Датико от женщин нос воротит и книжки разные за поясом носит, когда их читал — один бог ведает, но читал ведь, молчальник великий, а голова светлая, ума палата и только. Вот, значит, сидел Датико на одной ягодице, другую негде пристроить, не теснить же

братьев, в самом деле. А борцы те друг дружку покатают, помнут и шеи себе накачают — то один победит, то другой — и еще к народу—выставляйте, мол, палавана вашего. Мастеровые наши не робкого десятка были и коли б за дело взялись — не оторвать бы борцам тем лопаток от ковра, так бы с коврами на плечах и ходили... Но чтобы в трико срамное выряжиться и перед всем честным народом нагишом выламываться — на такое никто бы не пошел — честь дороже борцовской славы. Взять Эремо хотя бы — он в кузнице по пояс голый работал и ничего, но чтобы вытолкать его в таком виде на ковер — да ни в жисть бы он такого не допустил. Вызывали борцы палаванов, вызывали, да зря все — никто не выходил.

Но раз поднялся Датико, видно, опостылело ему на одной ягодице сидеть, а может, за живое его задели, и вышел, раздеваться, правда, отказался, только сапоги скинул, чоху стянул с плеч и вышел. Братья его заартачились было сначала, но когда германец-борец отнекиваться стал, не стану я, мол, с одетым человеком бороться, вот тут они за Датико горой встали. Крику было и топота, чуть еще раз скамейки не брякнулись оземь. Делать нечего германцу, нельзя, чтобы его за труса сочли. А был Датико что твой Голиаф, зря только Давидом звался, а германец перед ним — Давид и есть, хотя здоров был — мускулы — во каждый, как две моих головы — так и ходят под безволосой гладкой кожей, так и ходят, расталкивая друг дружку. Датико всяких там хитростей французских не знал, только сгреб он нашего германца и бросил, но тот изогнулся как подкова и на ноги встал. Датико его еще раз кинул, а тот опять не ложится, резиновый, ей-богу, глянь, снова на ногах стоит. А потом как обкрутится вокруг Датико, как обхватит его и, веришь, на воздух поднял — ноги в вязаных носках как ножницы, разошлись — и бросил на ковер — не на спину, правда, на грудь, но бросил. Лежит Датико на ковре, а германец над ним ястребом кружит, на спину перевернуть норовит, а Датико не поддается, лежит и лежит. Народ со скамеек повскакал, ждет, как Датико из передряги выкрутится. Взмок германец, а Датико ни с места, ни сдвинуть его, ни поднять, ни перевернуть, лежит и лежит, головы не поднимает. Это он со

стыда, верно. Братья тоже с места не двигаются — народ стоит, подбадривает Датико, а они сидят и сидят как каменные. Германцу самому на лопатки ложиться впору, мается бедняга, и туда и сюда, а все без толку — смотреть на него жалко —и победил вроде но какая тут победа — лопатки Датико, что твои холмы, кверху торчат. Судья ничью объявляет, германца в сторону отвел, а тот оперся на барьер — еле дышит. Датико все лежит и лежит.

Тут поднялся с места Како-мясник, и лицо у него такое, как будто по нему бычью кровь ладонью размазали. За ним—Эремо-кузнец, а лицо у него такое, словно его огнем из кузнечного горна обожгло-спалило. И Аги-краснодеревщик вслед за братьями встал. И лицо у него такое, словно по нему рубанком да наждаком прошлись-проехались. Замолчал народ, затаил дыхание, вот когда, подумал я, пришел конец германцу, невдомек мне в ту пору было, что кутаисские мастеровые святой закон блюдут — честен бой, коли один на одного, а трое одного не бьют, не то что теперь ваш брат, мальчишки... Постояли так братья, подождали, встанет ли Датико — не встал он, и пошли они к выходу — впереди Како-мясник, за ним Эремо-кузнец, а следом Аги-краснодеревщик... И народ за ними потянулся, молчаливый, обескураженный. А Датико все лежит. Только последний человек из цирка вышел — вижу, встает, а лицо у него, словно его в крахмал окунули и синькой пополоскали. Тут к нему и подошел германец, отошел, видать, бедняга. Подошел, руку на плечо положил и зашептал что-то ему на ухо. Не слышал я, что он говорил, а хоть бы и услышал, все равно не понять мне было германского языка. Но Датико, видно, понял...

Никто с той поры братьев на борцовских представлениях не видел, зато Датико что ни день к германцу заглядывал: скажет Како, что к Эремо идет, Эремо скажет, что к Аги торопится, недолго у Аги задержится, мол, Како подсобить надо, а сам к германцу. Чем они там занимались, никто не знал — умел Датико хранить свои тайны. А потом все разом нару-

---

Ушанги Рижинашвили. Датико-банкир.

жу вышло. Оказывается, германец с ним языком германским занимался да борьбой французской. И двух месяцев еще не минуло, как Датико наш к германцу зачастил, а он уже и то, и другое усвоил, не зря, видно, книги за поясом таскал, сметлив был и до учения охоч.

А еще через месяц объявил Датико своим братьям, что по Европам поездить желает. Всполошились братья, совет устроили, чтобы честь честью дело решить. Три дня собирались, работу запустили, телом даже опали, не шутка ведь судьбу братнину решить. Датико слонялся сам не свой, но к германцу ходил исправно в назначенное время. На четвертый день Како-мясник объявил Датико решение совета братьев: выдать младшему тридцать один золотой червонец — пятнадцать положил Како и по восемь Аги с Эремо — деньги эти отпускались безвозвратно на учение в Европах с условием, что Датико банковским делом овладеет и вернется в Кутаиси. Хотя бы один образованный будет в нашем роду, хватит и того, что невежды мы все да неучи, от себя добавил Како. Пусть проторит дорогу в Европы, может и дети наши за ним потянутся, присовокупил Эремо. Учись, время попусту не трать, а деньги понадобятся, в долги не влезай, к нам обращайся, подсобим, прибавил Аги. И уехал наш Датико с германцем, а братья наши погрустнели да осунулись, словно плечо левое им отсекли начисто. И то сказать, трудно брата единоутробного терять, на время, правда, но все же. Да и Кутаиси, казалось, опустел, знаешь, сколько места Датико в городе занимал, ведь он великаном был, идет, бывало, и всю улицу собой заполняет. Тогда улочки невелики были, не чета нынешним... Только вот вина с отъездом Датико больше не стало. Трое братьев за четверых теперь старались, долю Датико за здоровье его и за удачу выпивали. И наверно оттого сопутствовали ему и здоровье и удача. Карточки он присылал, и был он на них в том самом срамном трико, которое ни за что в Кутаиси не одел бы. С того, видно, братья приветы от Датико и поклоны все передавали, а вот карточки прятали куда подальше. Все Европы он на лопатки положил, слава о нем по всем городам шла. Правда, звался он тогда Дэвид Кутатели. И откуда только в Европах тех

про наших дэвов прослышали, а ведь прослышали, иначе с чего бы они так Датико прозвали? А Кутателили он, видно, сам себя прозвал, чтобы родному городу славы прибавить... Не за тем мы его туда отпустили, чтобы он в трико перед зеваками позорился, сказал тогда Како-мясник. Не скажи, отвечал ему Эремо-кузнец, не позорится он, а славу добывает и себе, и нам, братьям своим, сила в нем играет, пусть балует пока молод да горяч. Видно, ищет где банковское дело получше да поглубже разумеют, с того и ездит он из города в город, а найдет — тут же осядет, ума ему у нас не одолжаться, рассуждал Аги-краснодеревщик. И то правда, охотно соглашался с братьями Како-мясник, это он просто по старшинству своему младшего поругивал. Вот как оно было...

Еще два года приходили письма. Как в воду глядел Аги, Датико, видно, и впрямь набрел на то, что искал, — в Швейцарии поселился, там хоть и проживали сплошные швейцары, говорят, еще и самые лучшие банкиры дела делали. Ума не приложу, как это наш Датико, брат своих братьев и сын своих родителей, ладил с теми самыми швейцарами и банкирами. Да-а, тяжело, верно, на трико сюртук одеть и котелок впридачу, но ты не думай, что это настоящий медный котелок, нет, это шапка такая из фетровой материи, круглая, с того она котелком и прозывается. Вот когда возликовали братья наши — снимки Датико всему городу показывали, тыкали под нос знакомым и незнакомым, клиентам и торговцам. А по мне трико ему больше шло, жал ему сюртук и лопался, наверное, где попало, так же как рубахи на Како-мяснике, лицо у Датико на карточках сюртучных не по душе мне было, как будто тигр в клетке сидит и сквозь прутья выглядывает — грустное было лицо, совсем как теперь, когда он на солнце смотрит. А поди ты, скажи я тогда братьям его такое, не сдобровать бы мне и не сидеть теперь с тобой рядышком... Да, дай им волю, они бы их на груди носили, снимки эти сюртучные да котелочные, фу ты, как это у меня язык повернулся такое сказать, на груди у нас только карточки покойников

носят — да минует эта доля Датико нашего — скорбь свою проявляют и други: с собой скорбеть зовут. Или еще на домах вывешивают и надписи на черной материи делают, оплакиваем, дескать, нашего дорогого и незабвенного Чичико.

Опять меня не туда понесло, почему я это вдруг покойников вспомнил? А ведь есть отчего, зря никогда ничего не вспоминается. Ведь мир тогда кувырком пошел, на голову встал, по швам треснул, словно мор на него кто наслал — война началась. И пошли на войну и Како-мясник, и Эремо-кузнец, и Аги-краснодеревщик, да будь еще и Датико тут — и ему бы не миновать серой шинели. Пошли-то они пошли, да вот вернуться ни один не вернулся, все там остались, на войне той проклятой. Эх, чуяло, видно, их сердце беду, когда они Датико от себя оторвали, на чужбину отпустили-отослали, видно, бог их тогда надоумил: спасти хотя бы корень один рода своего могучего. И то сказать, детей у братьев была куча — полон дом, а все как в насмешку, что ли, девочки да девочки, нет чтобы мальчонка какой затесался. Вот как бывает... Впрочем, в ту пору никто не ведал, что да как с Датико, война ведь и в Европах была, да еще какая, правда, швейцары хитры оказались, даром там у них, что ли, банкиры ошивались, войну к себе не допустили, нетральные мы, дескать, нетральные — ничейные, значит, по-ихнему, не с вами-де, и не с ними. Так и Датико наш нетральным сделался. Да, будь он здесь, мигом бы его тральным окрестили, и сгинул бы он вместе с братьями, как пить дать, сгинул бы...

Но остался Датико жив-здоров, годы шли, а о нем ни слуху, ни духу, забыл о нем Кутаиси, начисто забыл. И было с чего. Ведь он совсем молодым уехал. Да и такое в ту пору творилось — немудрено было обеспамятеть — сначала война людей переехала, потом неизвестность — кто для народа лучше: меньшевики ли, большевики ли. А пока неизвестность, сам знаешь, людей уйма гибнет, да что люди — жизнь гибнет, с которой худо-бедно, да свыкся. Тяжко, когда живым шкуру с себя сдирать надо — кровь так и течет ручьями. Разное бывало, пока новая жизнь росток пустила да сил набралась. Много народу домой не вернулось, а много уехало куда глаза глядят. Кончился Кутаиси,

который я знал, кончился — следа не отыщешь, разве что в памяти, но память что решето — что-то останется, которое покрупней, а остальное в дырочки выскользнет...

Многое забылось, больше того, что помню сейчас, но вот как Датико приехал — никогда не забыть. Юношей я был — двадцать два, кажется, а может и больше, но грыжа уже при мне была, надорвался от работы немыслимой — кости, мускулы еще не окрепли, а щадить себя я не умел, вот и надорвался. Так вот и нажил грыжу, с тех пор ее и таскаю, как гирю, привык, а на первых порах жить не хотелось, поверишь, на улицу выходить стыдился, все казалось мне, пялятся и смеются за спиной... Опять меня к себе отнесло. Так вот, приехал Датико, как снег на голову свалился, я его первый признал, фаэтонщик Симон, который его вез, не признал, люди, что во все глаза на него пялились, не признали, племянницы родные не признали, а я мигом признал. Борода у него была от самых глаз, усы длинные, закрученные, золотое пенсне — это очки такие без дужек, на носу сами сидят и шнурок сбоку болтается, оно этим шнурком к пуговице прикрепляется, сюртук на нем черный, рубашка белая со стоячим воротничком и черным галстуком, на ногах ботинки шнурованные и гамаши — это такие штучки из замши над ботинками крепятся — а я его все равно узнал.

Но это еще ничего — рядом с ним женщина сидела — с ума сойти — красотка, как со старых картинок — в мантилье и во всем прочем—я женскую одежду не разумею, особенно швейцарскую, а ведь на ней все швейцарское надето было. Одежда ничего — ты бы на глаза ее посмотрел — круглые, огромные, сиреневые, не сиреневые, ну, как если бы чернила школьные, которыми ты пишешь, из чернильницы вытряхнуть на блюдце, а потом развести капелькой-двумя воды и размазать — вот какие у нее глаза были — а я его все равно признал. Весь город к ним пришел — шутка, что ли, некоторые отсюда туда, в Швейцарию, значит, подались, а он оттуда сюда, в Кутаиси наш —

понимаешь ты это, а? Большой человек, голова, сила, банкир настоящий и приехал в Кутаиси, они туда, а он сюда, каково? О братьях горевал, поверишь, весь черный сделался, все боялись, чтобы он не свихнулся. Первое время он все ходил от бойни Како к кузнице Эремо, а оттуда к мастерской Аги и обратно, совсем как в молодости, только вот некому уже подсоблять да плечо подставлять было. И бойни той не было, и кузница чужая стала, и мастерскую гробовщик откупил, а он ходит и ходит. Постоит, понуря голову, и уйдет. Рассказывал мало, все больше сам расспрашивал. Люди думали, что он поживет, поживет и уедет обратно в свои Европы, в Швейцарию, значит, а он возьми да и останься. Народный банк ему дали, он там самым главным стал, банк тот и сейчас там, знаешь, который в начале Балахвани — Госбанк он сейчас называется — это и был народный банк. Люди к нему снова привыкли — Датико-банкир да Датико-банкир, совет ли нужен, помощь ли — все к нему ходят, свой как-никак, сын своих родителей, брат своих братьев и каких братьев. Казенную квартиру ему дали недалеко от банка — он все время в банке пропадал — даже ночью пройдешь, бывало, мимо, а на третьем этаже у него лампа горит — высокая такая, он ее с собой привез, полведра керосина в нее влазило, ей-богу не вру, и абажур у нее был такой стеклянный розовый, загнуто-выгнутый, что цветок диковинный, ровно горела, никакой копоти, а вот беда вся из-за нее, треклятой, и вышла... Кто бы мог подумать, что в такой красивой лампе столько напастей таится, знать бы, ведь по ее-то вине полный сил, ума, добра мужчина в колоду обратится. Знаешь, говорят вот, слепой, дескать, случай, и вправду он слепой, кабы зрячим был, разве обрек бы такого человека на такую долгую несчастную жизнь. И как это бывает только — жил вроде, как и положено человеку, добро сеял, людей согревал, чужого не брал — свое раздавал кому оно больше нужно было, и на тебе, из-за лампы какой-то бесчувственной все насмарку, да и как еще — врагу своему и то не пожелаешь, просто язык не повернется, ей-богу...

А дело было так: ушел наш Датико из банка под утро, темно еще было, ненадолго, видать, ушел, иначе бы ни за что он лампу так вот не оставил бы —

осмотрителен был да к порядку пристрастен что твой германец — германцы, сказывают, все такие — чтоб ни пылиночки, ни сориночки, все чтоб чин чином, без помарки значит. Так вот ушел Датико домой на четверть часа от силы, а задержался там с час. Живой человек, как-никак, заснул, видно, с устатку. А в комнату его, в банке которая, летучая мышь залетела, сказывают. Откуда она взялась и почему это вдруг ей прямо в комнату его залететь вздумалось — бог знает. Только мне и по сей день все мнится — не было никакой летучей мыши, это просто про нее слух охрана пустила, чтоб сухой из воды выйти: за пожар в банке по головке не гладят, сам понимаешь. А летучих мышей у нас отродясь не бывало. Сам посуди, я о них всяко слышал, но видать их ни разу так и не довелось. Мышь, значит, летучая она или ползучая, а лампа опрокинулась, керосин из нее вытек и встретился с огнем, а что от этого бывает, растолковывать нет нужды. Занялось все огнем да так — в городе светло сделалось, что в солнечный полдень, а ведь ночь на дворе была.

Весь город сбежался, как только люди так быстро у банка оказались — ума не приложу, спросонья, кто в чем, а оказались. И я тут же был. Пока наши пожарные клячи до банка с бочками своими худыми доплелись, пламя столбом встало, а дыму, дыму было, до сих пор, поверишь, глаза ест — тридцать годков, поди, прошло, а ест. Тут Датико появился, в жилетке поверх сорочки белой, видно, прилег он, не раздеваясь. Волосы дыбом и борода дыбом, как сейчас вижу, каждый волосок кверху и отдельно от других. А к банку близко подойти никто не смеет. Жар от него идет — у иных одежда сопрела и волосы опалило — вот какой жар был. Стоило Датико появиться, как расступились все — туда и сюда расступились, коридор такой ровный сделали, как будто их выстроил кто-то по линеечке. Нельзя было пускать его, а они коридор сделали, вперед к смерти словно бы подтолкнули.

И что ты думаешь? Пошел он по этому коридору, да не пошел даже, а кинулся сломя голову к самому

банку. Лестница к нему вела из белого эклярского камня тесаного — высокая такая и с площадками на каждом этаже — а ведь говорил я тебе —комната Датико на третьем была, самом верхнем, значит. Датико вверх по лестнице — а на ней дыму — а искр, искр — до черта, так и сыпались в рассыпную. До того народ гомонился, гудел, горланил, а тут замолчал, как язык проглотил. В тишине только треск дерева да вой пламени раздаются. А Датико уже первый пролет одолел — идет и идет упрямо, голову нагнул — искры над ней стоят, словно волосы у него огненные выросли.

Зачем он туда шел и что думал, разве узнает кто? Может, и сам он тогда не знал, просто шел и шел все выше и выше. Дошел до своего этажа и бросился к своей комнате — облако дыма трескучее оттуда выскочило, видно, дверь нараспашку. Датико подождал чуток да и нырнул в комнату. А народ молчит и молчит — все словно в зрение обратились — задрали головы вверх и смотрят — и ни с места, как будто к булыжнику приклеились, в землю проросли и ног оторвать не могут. Вот тогда и притащились пожарные клячи — похватали пожарные ведра с водой, а ни с места, то вверх глядят, куда народ смотрит, то на людей, и они, видать, приросли, двинуться не могут. И в это-то самое время — глянь, на площадке третьего этажа Датико явился, явился и стал. Стоит Датико, а над ним глыба несгораемого шкафа висит в самом воздухе, нет, не висит она, а лежит на плечах могутных нашего Датико. Ахнул народ — тридцать пудов в шкафу том, не меньше, из чистой листовой стали он спаян. Тридцать пудов на спине у Датико-банкира — было от чего ахнуть людям. Ахнул народ, перевел дыхание, да как закричит разом, в одну глотку: «Бро-о-о-сь!». Не внял Датико крику, не бросил он шкафа, а двинулся с ним по лестнице.

Дым весь разошелся, отхлынул, словно испугался тяжести шкафа или перед силой Датико сробел. Идет Датико, качается — поставит одну ногу, приставит, волоча, вторую рядом, постоит и дальше таким же манером сходит. Народ затаил дыхание, но задвигался, переминается с ноги на ногу, спину сгибает, словно бы Датико помогает, да какая она, помощь эта за верстуто, когда шкаф тридцатипудовый на плечах одного

лишь Датико и держится. Пламя над головой у Датико, от брюк и жилета пар идет, лицо у него черно — то ли от копоти, то ли от натуги. Солнце тут взошло, рассвело, и пламя дело свое довершило — выело все нутро деревянное — одну одежку каменную сверху оставило...

И одолел Датико второй пролет. Ума не приложу, как он шкаф на спине держал — руки назад вывернул, да как руками-то тридцать пудов удержишь, а удерживал ведь. Не выдержали мужчины — выскочили вперед, кто посильней, ему на подмогу, но только поставили ногу на первую ступеньку, глухо крикнул Датико: «Назад» и зашатался — шкаф от крика чуть сполз по пояснице. И отошли мужчины, увидев такое. А Датико постоял-постоял, голову пригнул пуще прежнего и шаг новый вперед сделал. Последний пролет остался — самый длинный, ступенек двадцать в нем было.

Народ изошел в конец от молчания и ожидания, извелся и сник. Долго, долго время шло, тянулось и тянулось, а вот уже три ступеньки Датико пройти осталось. Попятился народ, потеснился, место высвободил, проталинка в толпе сделалась, словно площадку для борьбы выскоблили. Да разве ж то борьба была? Вот где Датико взаправдашним Давидом был. И скинул он шкаф наземь, словно Голиафа, опрокинул и сам рядышком рухнул, хряснул позвоночник — всем слыхать было, как он хряснул, и кровь у Датико из ушей и из носа хлынула, лежит у подножия лестницы, пополам согнувшись, а вокруг его головы все в черное да в багровое окрасилось. Бросились тогда к нему врачи, все, какие только в городе в ту пору числились, тут фаэтон подоспел — увезли Датико в больницу. Только тогда задвигался, загомонил народ, пожарные куцее пламя водой заливают — смирным оно уже сделалось, нажралось, насытилось... Охрана чертова возле шкафа выстроилась, не подпускает к нему народ — все богатство города нашего в шкафу том, сказывали, содержалось. И пошли тут разговоры да пересуды, разное говорили — ругали Датико от жалости к нему великой. Дескать, ничего шкафу тому бы не сделалось, на то

он и несгораемый, чтобы в огне не гореть и в пламени не плавиться, а Датико из-за него живота себя лишил, пропади все богатство пропадом, ногтя на мизинце Датико оно не стоит... Это как сказать — несгораемый-то, упирались другие, не все то несгораемое, что несгораемым называется, сгорит дотла, а потом ищи-свищи, доказывай, что он несгораемым был. Несгораемым все назвать можно, назови дурака умным — от этого у дурака ума не прибавится — все дураком, каким был, и останется. Не зря, дескать, Датико — банкир народный, он для народа и старался, себя не пощадил. А то, что богатство всего народа и ногтя на мизинце его не стоит, — истинная правда, богатство нажить можно, прах его возьми, а вот Датико второй ни в жисть на свет не родится, один он и был такой...

Поверишь, плакали мужчины, да еще какие, старайся не старайся, ничем слезу не вышибешь. А женщины — те на мужчин напустились, ваша, дескать, вина, что Датико живота лишился, как драться да вино пить — нет на вас удержу, а тут в землю вросли, одного Датико оставили... Но Датико живота не лишился, ног лишился, языка лишился, а выдюжил, много, видать, в нем жизни было, много вытекло, да частичка малая осталась, и до сих пор, как видишь, она в нем не сгасла. Если бы помер Датико, не так бы народ горевал, как горевал он, видя такое. Апсус, да чтобы Датико в коляске сидел, словно пень какой,—глазам бы такое не видеть — Датико — и без ног, Датико — и без языка — было о чем горевать народу.

И жена от него обратно в свои Европы, в Швейцарию, значит, подалась, это тебе не наши женщины, не нужен был ей калека, колясочник, ей красота своя дороже была. Да и была ли она в нашем городе, может, показалось мне, — никто ее не видел с того самого дня, как она к нам приехала, все дома сидела, и сама ни с кем не водилась. Сгинула, и все, мужа даже не повидала перед тем, как исчезнуть. Вот тебе и глаза сиреневые, по блюдцу размазанные! А та старуха, что давеча видел ты возле Датико, — вдова Аги, погибшего брата нашего Датико... Вот так. Не люблю я про все это вспоминать — душа скулить начинает, болит и болит. И вправду ли было все это, а может, привиделось, приснилось мне, ушла та жизнь, схлынула, следа от нее

не осталось — грыжа у меня есть, коляска в переулке возле церкви той французской есть, а жизни той нет, огрызки какие-то. Но ты ведь веришь мне, правда? Ведь веришь? Все были — и Како-мясник был, и Эремо-кузнец был, и Аги-краснодеревщик был, и Датико-банкир был, тьфу ты, типун мне на язык, есть он, есть, дай ему бог жизни, в коляске, без ног, без языка, а есть. Датико-банкир, Датико... Опять меня куда-то не туда отнесло, да ладно, ты просил — вот я и рассказал, зря это я. Ни к чему, вроде..»

Габо замолчал. Звезды, до того бледные и легкие, вдруг созрели и отяжелели, потянули к земле черно-фиолетовое небо. Риони без устали обтачивал, округлял, отглаживал лысые, пористые булыжники, выпирающие из ила. Габо, весь как-то съежившись, бочком прижался к скамейке и, не мигая, смотрел на облитый чернильным мраком и потому едва видневшийся могучий дуб, которому больше лет, чем мне, Габо и еще сотне таких же, как мы. Теперь я знал все про того мужчину в коляске, все, что рассказал мне Габо и чего он не рассказывал. Легкий ветерок, дувший от Риони, перебирал листья уже невидимого дуба, а это значило — он по-прежнему стоял, вцепившись в землю корнями, уходившими до самого Риони. Стало прохладно. Габо поднялся, помахал маленькими сухими ручками, разгоняя застоявшуюся от долгого сидения кровь. Я тоже встал на гудящие, покалывающие ноги.

— До свидания, Тенго, я пойду, поздно уже, завтра мне рано вставать. И тебе поспать не грех...

Габо крепко сжал мою руку и ушел. Крошеный кирпич тихо захрупал ему вслед. Габо уже не было видно, а тихое хрупанье крошек под его ногами все еще доносилось до моего слуха. А потом все поглотило протяжное глухое ворочанье Риони где-то под обрывом.

Я пошел не к дому. Нет, я хотел было пойти к дому, но ноги понесли меня в другую сторону. Я прошел через тускло освещенный парк, вышел на площадь перед театром и, обминув его, свернул к переулку, обтекающему французский собор. И вдруг увидел-

услышал шелест шин и негромкое звяканье металлических рукояток. На меня накатывалась коляска. Я посторонился вовремя — едва не коснувшись меня, мимо пропрыгала по булыжнику коляска, в которой покачивался широкий силуэт мужчины. А за коляской, задыхаясь от ходьбы, шла черная женская фигура. Пропустив вперед себя коляску и женщину, я крадучись пошел за ними. Коляска свернула в какой-то переулок и вдруг остановилась. Остановилась и женщина. Остановился в отдалении и я. Глаза мои освоились с темнотой проулка — да ведь здесь была бойня, о которой говорил мне Габо. Коляска запрыгала дальше. Тень женщины, громко дыша, двинулась за ней. И я не отставал. Коляска задворками катилась к базару. Вот она опять замерла возле приземистого домика с покатой крышей, с которой стекал густой лунный свет. Кузница. Дальше, дальше туда, к Риони. И опять застыли коляска и женщина у четырехугольного пустыря, где года два назад снесли мастерскую гробовщика. Пустырь остался позади, а коляска подъехала к самому Риони. Здесь было светло от лунного света, бурливая вода тускло переливалась, и крупные звезды дробились и вновь срастались на движущейся рваной ленте. Теперь я отчетливо видел бороду и незакрывающийся, немигающий глаз под обвисшим краем панамы. Глаз этот смотрел поверх Риони куда-то во мрак качающегося и шелестящего противоположного берега. Вспыхивали и гасли светляки, неожиданно яркие во мраке. А берег то приближался, то вновь удалялся...

РИЖИНАШВИЛИ Ушанги Ильич. Род. в 1940 г. Кандидат философских наук. Автор книги стихов «Три солнца», сборника стихов и рассказов «Зрение», монографии «Эстетическая информация».

ეროვნული ბიბლიოთეკა

Коба ИМЕДАШВИЛИ

ЗОВ

Имя Чабуа Амирэджиби известно мне с юности. Особенно запомнился один из дней 1944 года. Накануне вечером у нас в гостях был Амиран Морчиладзе, сын моего отчима, предмет моей детской восторженности и любви. В ту же ночь его вместе с друзьями неожиданно для всех нас отправили в далекие края, предъявив обвинение явно абсурдное (что спустя годы и получило официальное подтверждение). Среди этих друзей находился и Чабуа Амирэджиби... Оба были тогда красивы (да и сейчас от них не сразу отведешь взгляд), высоки, прекрасно воспитанны, образованны, мужественны — все лучшее, благородное, истинно грузинское для меня было связано с их именами... И вот сегодня, спустя годы, Ч. Амирэджиби как бы воскресил дух своей молодости, утвердив в грузинской литературе образ Даты Туташхиа, прекрасной, чистой, сильной личности.

А ведь такой герой был просто необходим грузинской прозе. Помнится, еще в середине 60-х годов я пи-

сал в связи с проблемой молодого героя: «Нашей литературе необходим... молодой герой, который поразит нас своим разумом, своими чувствами, своими делами. Слово это за молодыми писателями, его ждут народ и время».

И слово это было сказано. Вспомним лучшие произведения 60—70-х годов сегодня уже широко известных грузинских писателей.

Потребность в романтическом герое, и довольно острая, ощущалась не только в грузинской, но и во всей советской прозе, и это стало ясно после опубликования «Даты Туташхиа». Подтверждение тому — реакция читателя.

Народ и время всегда в ожидании подобного писателя и подобного героя — чистого, сильного, выражающего лучшие чаяния и черты народа.

И Дата зовет нас ко всему лучшему, героическому, истинно грузинскому... Зовет всех честных, непримиримых, бесстрашных... Зовет не в прошлое и не к прошлому, а к будущему, смело взывает к нашему времени, к нашим душам и разуму, являясь голосом нашей разбуженной совести. А ведь Дата — разбойник, абраг, он стоит вне закона и, по мнению некоторых, опасная для общества личность.

И в то же время это тот человек, который, подобно Христу, взял на себя грех своих братьев, ради них подверг себя мучительным пыткам, возвысил свою душу. Дата Туташхиа — герой, не ограниченный временем и пространством. Он стоит над ними, хотя и является сыном своей эпохи и своей страны, и эта двойственность главного героя придает двойственность всему роману. Более того, этот исторический роман глубоко современен по своей проблематике, по поднятым и решаемым в нем насущным проблемам. Дата — наш современник, и это дает возможность своеобразно интерпретировать хронос романа.

В связи с этим уместно вспомнить положения, высказанные мною вслед за опубликованием романа Чабуа Амирэджиби: «Я считаю, что «Дата Туташхиа» — произведение, увенчавшее успехом не только поиски автора, но и поиски грузинской прозы 60-х годов. Я сказал бы даже, что, подобно лучшим образцам грузинской прозы шестидесятых годов, «Дата Туташхиа», в свою очередь, выявляет бесспорную связь с лучшими произведениями грузинской прозы двадцатых годов. Это и неудивительно: сложный процесс выдвижения на передний план морально-этических проблем и использования

в художественной ткани произведения мифологических символов начался в грузинской литературе именно в 20-е годы».

«Дата Туташхиа» — глубоко национальное художественное произведение, не только отмеченное преемственной связью, но и высокохудожественным воплощением грузинского характера, пути его духовного развития в определенный отрезок истории. Тем не менее, это вовсе не означает, что названный роман хоть в какой-то степени ограничен узко национальными рамками. Отраженные в нем людские страсти, будучи масштаба общечеловеческого, не так уж редко обретают значение формулы. Они будут понятны всем, в любое время и повсюду.

Этот универсализм проявляется и в форме. Не только своей проблематикой, но и формой «Дата Туташхиа» обнаруживает непосредственную близость к ведущим тенденциям современной мировой литературы.

Для меня разговор об этом сложном проблемном произведении начинается с определения его жанровых особенностей, поскольку именно с учетом жанровой специфики можно многое в нем объяснить.

«Дата Туташхиа» — произведение, состоящее из двух пластов — бытового и философского; именно их единство и обусловило особые форму и стиль романа.

Основная цель его автора — не просто создание художественной модели действительности, а ее комментирование, философско-концептуальный анализ.

Хотя действие романа и перенесено в историческое прошлое, оно не только его концептуальное отражение (для этого автор зачастую обращается к иносказанию, параболе, весьма популярному сегодня средству проникновения в суть явления и его обобщения), но и реконструирующее обобщение современности. Обобщенные здесь идеи что ни на есть самые насущные для современности.

Историческая действительность в «Дате Туташхиа» изображена средствами, характерными для «романа идей». Его главные герои — персонификация идей, в основном характеризовавших, а порой и определявших грузинскую жизнь XIX—XX веков.

Таким образом, с философской точки зрения, историческая действительность, движение мысли переданы в нем точно. Это именно то, что Макс Бензе называет «познанием высочайших интересов духа».

Сам Дата Туташхиа — персонификация светлых идей, пронизывающих жизнь грузинского общества второй половины XIX века. Главное в его характере — **поиск, поиск цели, пути достижения цели**, но **не ее достижение**, которое уже историческая миссия иных сил — не святых одиночек, а народа, масс. Дата идет к ним, но погибает. Гибель его, безусловно, не случайна и не однозначна. Здесь объединяются два плана романа — мифологический и бытовой. Последний — обобщение грузинской действительности XIX века, которую характеризовала не только борьба против национальной и социальной несправедливости, но и поиск человека, определение его нравственных ориентиров (которые вскрывали нравственные ориентиры нации). У врагов народа типичным аргументом в этой борьбе было политическое убийство, используемое врагами Грузии в борьбе с теми грузинскими деятелями, для которых основной целью существования было самопожертвование во имя национальных интересов, беззаветное служение национальным идеям. Тут можно было бы привести множество примеров, я же ограничусь лишь одним. Вспомним отца народа — Илью Чавчавадзе, убитого заблудшим и ослепленным соплеменником. Пуля была пущена в идею, а попала в личность.

Ни одно из этих политических убийств нельзя назвать случайным. Они были закономерными явлениями, типичными для того общества, для той ситуации, в которых все это происходило.

Логика жизни героя, реального и выдуманного, здесь одна, как одинаков и ее конец. Оба при жизни стали символами, поэтому их реальное убийство обратилось в уничтожение символа.

Естественно, что народ не поверил в смерть Даты, поскольку идея, которую он собой воплощал, живет в самом народе, вместе с ним. На том или ином отрезке истории эта идея обычно связывается с конкретной личностью.

Чередование повествования в романе и его сюжетные ходы оказывают довольно сильное эмоциональное воздействие на читателя, которое автор, философски обобщая явления, как бы намеренно систематически ослабляет. Так как для него главное — анализ факта, но не сам факт. Каждый эпизод здесь в первую очередь материал для теоретического обобщения. Возможно, читатель определенного склада посчитает это недостатком романа, в котором разум бесспорно подавляет эмоцию (хотя в большинстве случаев это трудно по-

чувствовать). И это проявление такой тенденции современного искусства, как интеллектуализм.

На мой взгляд, **вне философского обобщения «Дата Туташхиа» не смог бы достигнуть того уровня, на котором он стоит. Это — уровень лучших произведений грузинской советской прозы.**

Превалирование рационального начала, подавление в некотором роде эмоционального, параболическое мышление, условность художественного языка, острая постановка философско-эстетических проблем ставят этот роман в ряд лучших произведений интеллектуальной прозы.

С жанровой же точки зрения он является параболой. В нем проявилась также характерная для современной интеллектуальной прозы мифологизация действительности. Главные герои, как и эпиграфы к основным частям, бесспорно предстают перед нами в роли мифологических символов.

Острая постановка этической проблематики и ее решение, своеобразная форма, персонификация характерных для исторической эпохи идей, гротескное, параболическое преобразование действительности выдвинули роман Чабуа Амирэджиби в ряды значительных явлений грузинской советской прозы. Но пока он надлежащим образом не изучен и не расшифрован до конца. Грузинским литературоведам еще предстоит определить соответствующее ему место в истории нашей литературы. Мне лично оно представляется среди лучших образцов грузинской советской литературы.

Прошло довольно много времени с тех пор, как я дал свою первую оценку этому произведению. Годы помогли лучше увидеть то, что ранее осталось незамеченным. Пришлось пересмотреть собственные взгляды, кое-что переосмыслить из вышесказанного.

Сегодня мне представляется, что, с точки зрения жанра, «Дата Туташхиа» выходит за рамки романа-параболы. Но он безусловно послужил значительным толчком к развитию параболического мышления в нашей прозе.

Сюжет «Даты Туташхиа» развивается характерными для авантюрного романа путями, хотя глубиной психологического анализа героев значительно превосходит его.

В то же время это роман исторический. Нового типа исторический роман, который воскрешает дух времени, тен-

---

Коба Имедашвили. Зов.

денцию развития эпохи, а не бытовые реалии. Многие его эпизоды — непосредственное указание на современную реальность, нравственные же поиски его протагониста — это запросы нашего сегодняшнего дня.

Роман этот сложный, и поэтому отнесение его к какому-либо определенному типу будет неоправданным. Если же это сделать необходимо, я отнес бы его к редкому типу историко-социально-философского романа. Протагонист его — борющийся за собственное самоусовершенствование Дата Туташхиа — проявляет бесспорную близость к легендарной, однако реальной личности XIX века — Арсену из Марабды.

Они отличаются друг от друга и внешностью, и поведением, и структурой характеров, и правдоискательством, и способностью к самопожертвованию во имя человека и достижению поставленной цели.

Однако есть между ними и принципиальное различие.

Дата Туташхиа борется в основном за нравственное возвышение человека и прежде всего за собственное нравственное возвышение.

Арсен — против социальной несправедливости.

Дата стремится к свободе духа.

Арсен — к социальной свободе.

Обоих губит в этой борьбе коварство.

У Арсена остаются сын и непосредственные наследники по крови.

У Даты — никого. Но он должен вернуться, поскольку народ не верит в его смерть, как и в смерть Арсена.

Итак, спустя более полувека вместо Арсена появляется Дата. Он смутил наш покой, взволновал наши души, дал почувствовать красоту благородной, сильной личности и исчез. А впрочем, исчез ли? Разве частичка его не осталась в каждом из нас, как вечная и неослабевающая ностальгия по рыцарскому, доброму, прекрасному и возвышенному? Народ всегда нуждается в подобном зове.

Дата превратился в мифического героя, который, согласно законам мифа, умирает для того, чтобы вновь восстать в новом облике, в новое время и в новой обстановке.

На наших глазах, в соответствии с законами классического мифа, создалась новая мифема, новый литературный миф, который, я думаю, не должен подвергать сомнению мысль о том, что литературное мифотворчество — не выдумка теоретиков, а проявление нового литературного процесса. Мифотворчество для Чабуа Амирэджиби — не дань со-

временной иностранной или грузинской литературной моде. Это продиктованная внутренней логикой романа обязательная форма, которая обобщает, облагораживает и углубляет содержание.

Мной уже отмечалось, что грузинской мифологии не известен имитированный под старогрузинский текст миф о противоборстве Туташха и дракона. Это плод авторской мистификации. Он написан сегодня, но рождает иллюзию истинности, так как создан с учетом внутренних закономерностей мифа. Качественно новое в этом автомифе то, ради чего произошла его реконструкция: любое самопожертвование во имя ближнего превращает зло в добро. В этом отношении он противопоставляется еще и Новому Завету, где страшный дракон (собирательный аллегорический образ всяческого соблазна и зла) терпит поражение — **только на тысячу лет.**

В то же время автомиф глубоко национален, поскольку в нем отразился «собирательный дух» мифологических представлений народа.

Интересен, на мой взгляд, и тот факт, что восприятие и объяснение этих мифем, мифологических моделей не затруднено для читателя, поскольку реальный и мифологический планы дополняют и объясняют друг друга.

С какой целью я подчеркиваю все это?

Дело в том, что сегодняшнее увлечение мифологизмом порой переходит в свое отрицание, так как превращается в самоцель.

А сколько прекрасных произведений создано в последнее десятилетие именно в результате приближения к мифу?

Помимо мифов литературных, существуют также мифы и в жизни. Протагонистом подобного мифа, а может быть, и его создателем является сам Чабуа Амирэджиби. Он — интересный собеседник и прекрасный рассказчик, особенно в домашней обстановке. Помню, несколько лет назад я побывал у него в гостях на новой квартире. Было холодно, даже морозно, а в новом доме, конечно, еще не работала система отопления. На электропечи лежал кирпич для сохранения тепла, и притулившийся возле нее человек, высокий, иссушенный ветрами разных широт, закаленный жизненными бурями, раскрылся передо мной как сильная, интересная личность.

Коба Имедашвили. Зов.

Поверьте, я позабыл (да и сам он тоже) о холоде, столь интересна была его одиссея, столь органична для автора «Даты Туташхиа», столь драматична и завершенна. Она прозвучала как самостоятельная глава романа.

А однажды (это было еще на старой квартире, где, казалось, он с трудом умещался) я застал у него его друга, известного художника, который в деталях рассказывал ему о не столь уж благовидном поступке другого их общего друга и спрашивал у него совета. Я оказался свидетелем блестящего разбора «дела», исследования движущих мотивов или целей, действий его персонажей, характеристики их морального облика и оценки с высоконравственных позиций. Чабуа Амирэджиби тогда, пожалуй, уже десять лет как работал над «Датой Туташхиа», и все происходящее было в стиле романа.

А совсем недавно, когда разговор зашел о его новом романе, Чабуа огорченно сказал мне, что не может работать — «нет ни времени, ни покоя, каждый день приносит неотложные, на первый взгляд, дела; в ходе работы над «Датой» этих дел, казалось, не было или, может быть, он сознательно избегал их. По-видимому, и сейчас ему нужно резко отмежеваться от всего повседневного, дабы иметь возможность писать.

Популярность действительно легко не дается, а тем более в Грузии, где, увы, мало дорожат не только своим, но и чужим временем. Первоначально «Дата Туташхиа», по признанию самого автора, был задуман как повесть, затем в процессе работы она постепенно переросла в роман; и, только завершив работу над ним, Чабуа взялся за автомиф, имитируя его под старогрузинский.

Из той же последней беседы:

«Писатель носит в себе множество впечатлений, историй, приключений, которые произошли с теми или иными людьми: их переживания и создают порой противоречивый по своей структуре или содержанию текст. До сих пор никто не заметил моей тайны, но сейчас пришло время раскрыть ее. Смерть Даты Туташхиа написана по аналогии с «Ночным полетом» Экзюпери. У Экзюпери заблудившийся в Андах Гийом, понимая, что смерть неминуема, ложится на скале так, чтобы его легко можно было обнаружить с самолета. Он делает это для того, чтобы его труп обязательно был найден, в противном случае страховое агентство не выплатит его жене страховки.

В «Дате Туташхиа» все наоборот: Дата делает все, чтобы его труп не был найден, дабы цена его убийства не развратила остальных.

Как видите, средство одно и то же, хотя цель и результат различны».

Чабуа Амирэджиби — 60 лет. Как они легки и красивы, оказывается. Казалось, ничего не изменилось, по крайней мере внешне. Он все такой же, как и двадцать лет назад...

Я помню его, полного честолюбивых, смелых замыслов, на известном совещании творческой молодежи в Бакуриани в шестидесятых годах. Царившая на нем непосредственная атмосфера побуждала нас, видимо, слишком уж часто устремляться к трибуне, чтобы поделиться казавшимися нам тогда значительными нашими мыслями и замыслами. Под конец чувство юмора у иных из нас одержало верх, и был учрежден специальный приз, предназначавшийся тому, кто чаще остальных выступит с трибуны, при условии, конечно, что речь его будет интересной.

К концу этого марафона подошли три оратора — критик Нодар Ихеидзе, прозаик Чабуа Амирэджиби и художник Реваз Тархан-Моуравн. Победил Чабуа — он вышел на трибуну и в день музыки... Однако приза не получил, поскольку приз был его имени.

По-видимому, тогда он переживал период исканий и самоутверждения. Во всяком случае прозаик Чабуа Амирэджиби, откровенно говоря, только-только начинался. Его первые рассказы мне не нравились. Однако после «Бадьи дяди Шота» в манере его письма появилось нечто иное, присущее только ему, интересное и специфически прозаическое. Помню «Муция Сцеволу», «Моего дядю, сапожника»... Поверьте, я запомнил их как запоминает читатель понравившиеся ему произведения. Впрочем, впоследствии все затмил «Дата Туташхиа». Один этот роман вполне достаточен для оправдания хрестоматийного существования писателя, но Чабуа Амирэджиби не начался и не закончился им. Если рассказы явились определенным подготовительным этапом к «Дате Туташхиа», то, возможно, притчи, написанные для юношества, с языковой точки зрения, — прелюдия к новому роману, поскольку один из интересных аспектов этого исторического полотна, как мне кажется, будет языковым.

Пока опубликованы лишь незначительные отрывки из него. Я не знаю, каким будет этот роман — превзойдет ли он «Дату Туташхиа» (что, вероятно, окажется делом нелегким), но одно уже ясно: роман пронизан общенациональной болью, в нем открываются такие масштабы, такие дали, звучит такая мука души и торжество во славу народа, мысль о котором, служение которому — долг каждого, хотя и не каждому подвластный.

Мне нравится этот роман, потому что я принимаю данную в нем точку отсчета, его высоту. Меня интересует, какое развитие получит история, рассказанная в тех небольших отрывках, что были уже опубликованы, как проявит себя протагонист романа, сможет ли он с честью нести тот груз, который возложили на него история и автор. А разве существует для писателя что-либо дороже этого ожидания? Хочется пожелать Чабуа Амирэджиби, чтобы он никогда не лишался читательской любви и интереса. Ибо, если писатель любим своим народом, все остальное приложится, что впрочем особого значения уже иметь не будет. Главное, быть любимым народом. Любимым всегда и неизменно способным уберечь эту любовь, отвечать на нее. Это прекрасно, хотя и очень трудно.

●

ИМЕДАШВИЛИ Коба Иосифович. Род. в 1935 г. Окончил ТГУ в 1958 г. Печататься начал с 1955 г. Кандидат филологических наук. Автор монографий «Человек и время», «Проза Константинэ Лордкипанидзе» (на рус. яз.), сборника статей «Тридцать лет спустя», книги сказок для детей «Чиора», а также многочисленных статей о современной грузинской литературе и литературных взаимосвязях.

ეროვნული ბიბლიოთეკა

Александр МАРКЕВИЧ

«Я НЕ УМЕЛ СВОЕЙ ДУШЕ ПОМОЧЬ»

КОНТУР ТВОРЧЕСТВА МИХАИЛА КВЛИВИДЗЕ

ТАК повелось в последнее время, что большинство статей о поэтах пишется приблизительно по следующей схеме: критик излагает свой взгляд на поэзию вообще (с некоторыми вариациями — из статьи в статью!), а затем пытается худо-бедно втиснуть в эту концепцию творчество того или иного стихослагателя. Условно такие статьи можно назвать «Что бы я хотел вычитать у поэта имярек». Если бы вышла в свет книга «Высказывания о поэзии. Критика 60—80-х гг.», читатели ужаснулись бы обилию самых противоречивых мнений. Дабы не быть белой вороной в этой области, мы обогатили бы сей фолиант еще одной цитацией — определением поэзии, которое дано в стихотворении поэта А. Цыбулевского: «По разуменью моему, Поэзия — вся — ускользанье!».

Это «неопределенное определение» как нельзя лучше подходит к стихам М. Квливидзе, ибо, открывая его поэтические сборники, сразу же окунаешься в стихию острого ощущения жизни; кажется, если дотронуться до самых пронзительных строф, обожжешься — столь велик накал вопрошающего, мечущегося и вольного чувства,

«ускользающего» и от тягомотного анализа, и от тисков умозрительных суждений.

Памятуя об этом, мы не ставили перед собой задачу законсервировать созданное поэтом и навсегда прилепить этикетку к его творчеству; нас больше интересует генезис.

Итоговый сборник переводов из М. Квливидзе, вышедший в издательстве «Мерани», разделен на три части: «Так пелось мне» (1945—1955), «До востребования» (1955—1965) и «Продолжение следует» (1965—1975). Он начинает как поэт — «комментатор» действительности. Стихи напоминают акварели, написанные в импрессионистской манере, — это как бы высвеченные вдохновением моменты бытия. Цвета перемещаются в пространстве, среди них преобладают черный и белый, как у Пиросмани. Постепенно размытость образов сходит на нет, и поэт — а он, как сказано в предисловии, художник-график по образованию, — воцаряет в фактуре стиха графическую точность рисунка, которой остается верен на всю жизнь. Однако это истинно поэтическая графика — мысли, чувства и даже запаха («Мазанки в черных рубахах, в шапках горелой соломы...»). Мы видим и слышим, как «стрекозы от былинки до былинки на крохотных катались мотоциклах...», как «шатался в потрепанной серой шинели туман по проселочной пыльной дороге...». Между строк проступает абрис похожего на «кусок замечательной дыни» месяца, который «пилит воздух голубой и, как дрова, косые тени складывает» возле прыгающей речки, что «лает на сады». Поэт приобщает читателя, которого он определяет как «соавтора и двойника», к таинствам внешнего мира и ради разгадки его старается «...в песне вам высказать многое-многое», и, нащупывая слова, как музыкант — ноты, и постигая величие божественной Грузии, осознает, что в этот миг «...как никогда, ощущаешь бессилие слова».

Однако ранние стихи еще слишком этюдны, тонкослойны. Инстинктивно чувствуя это, поэт, который, кстати говоря, одно время учился на философском факультете университета, прибегает к сомнительной помощи риторики и терпит, на наш взгляд, неудачу, забыв, по-видимому, что он не мыслитель, а прежде всего художник, имеющий дело с чувственными образами. Как только поэтическая мысль подменяется сентенцией, поэту отказывают природный темперамент и дыхание. К примеру, стихотворение «Высота» заканчивается таким двустишием: «Не над другими — над собой подняться сумей! И — ты достигнешь высоты...». В принципе, мысль

эта могла бы украсить сборник стихотворца риторической школы, но для М. Квливидзе подобные вещи чужеродны, и впоследствии он отказывается от сухой декларативности и назидательности.

Внимательно вчитываясь в стихи поэта, написанные в течение лет, невольно замечаешь нарастающее подспудное влияние русской поэзии. Ранний М. Квливидзе — поэт самобытный, со своим голосом, негромким и нежным, не вырывающимся, однако, за границы национальной поэтической традиции. Взгляд на предмет и круг тем, а это и неудивительно — плоть от плоти грузинские. Но поэт ищет свой стиль, и этот поиск приводит его в русскую поэзию. Он учится у близких ему по мироощущению мастеров, и процесс этот идет пока на уровне образа. Поэт как бы перекраивает его на свой лад, развивает вширь. Так, например, двустишие А. Ахматовой «Надо мною свод воздушный словно синее стекло...» перекликается с двустишием «Если бросить в небо камень, то услышишь звон стекла» (перевод Е. Елисеева); строчка Б. Пастернака «Там книгу читает Тень...» — со строчками «С прочитанною книгой тишина на влажных травах разметалась в дреме...» (перевод А. Межирова). И наконец в некоей точке грузинская традиция перекрещивается с русской — с ее щемящей личностной нотой и исповедальностью. Мы как бы слышим вспорх крыльев:

...Приснилось мне: привстав на носках,
Давясь от слез, в обиде сам не свой,
Зажал мальчишка маленький в руках
Конец тяжелой стрелки часовой.
Хотел сдержать он мерный ход времен,
Забыв про книжки, игры и дела...
Но стрелки шли, и громко плакал он,
И в ссадинах ладонь его была.

(«Детство», перевод Е. Винокурова).

Тема неотвратимости Времени, сопряженная с трагедией — смертью самого близкого человека, взрывает поэта изнутри. Боль прорывается наружу:

Ты даже смертью своей научила,
Да, научила меня умирать...

(«Мать», перевод Н. Гребнева).

Зеркальное описательство внешнего мира отходит на задний план, и поэт приступает, если вспомнить выражение С. Чиковани, к «созданию новой практической действительности»; он уже не комментирует мир, а пропускает его сквозь себя, ассимилирует. Лирический герой погружается в свои переживания, и отныне это интровертное (из внутреннего опыта) восприятие мира ляжет в основу повествования:

Темница тесною была и узкой
И называлась телом человека.
Там бедная душа изнемогала.
Несчастная! Ей было суждено
Погибнуть в одиноком заключенье...
...Но к радости ее, в тюремной мгле
Глаза светлели, словно окна...

(Перевод А. Ахматовой).

Когда от боли перехватывает горло — уже не до пиитизмов, со слов спадают кружева и слова очищаются, словно промытый старателем песок. Поэт как бы худеет, метафора почти не дробится на отдельные кадры, становясь всей «пленкой», всей материей стиха. М. Квливидзе шаг за шагом движется к нагому пушкинскому слову, не отяжеленному трескучими эпитетами, но в неожиданных сцеплениях с другими обыденными словами звучащему по-новому. Кажется парадоксальным, что напряженность строки, ставшей менее плотной внешне, практически исключает пустые, проходные строки, которые поэт мог позволить себе в молодости ради созвучий, рифм или эффектного сравнения. Остается одно изящество — простоты.

К сожалению, эту метаморфозу в стиле некоторые переводчики не почувствовали и продолжали щедро привносить в стихи среднеарифметическую метафоричность и барочный псевдонациональный орнамент. Отсюда такая непохожесть двух соседних стихов и отсутствие стилистической цельности на протяжении всей книги, к несчастью, неизбежное в наше время в силу ряда объективных причин, и прежде всего — из-за незнания языка переводимого поэта. Тот критерий добротности перевода, долженствующего хорошо звучать по-русски, сейчас уже не может удовлетворить читателя: ощутимые потери при переводе и своеволия компенсаций слишком искажают лицо поэта. Не решившись, по-видимому, вручить свою судьбу в руки одному, пусть даже близкому по духу

русскому поэту, — ибо в этом случае не миновать скучных переводов тогда, когда оригинал чем-либо не интересен переводчику, а так всегда бывает, поскольку поэт не может да и не должен нравиться от и до, — М. Квливидзе тщательно подбирает переводчиков и, отдавая им свои подстрочники, твердо уверен, что это как раз то, что ищет переводчик. Но такой подход и приводит к стилистической многоголосице, хотя, с другой стороны, переводы освобождаются от привычной монотонности. Поэт разменивает свою кровную интонацию на множество русских. Что ж, это необходимость. Зато какое счастье, когда образно-ритмические рисунки стихов адекватны! Так случается в нескольких переводах Д. Самойлова, безусловно, лучшего интерпретатора поэта. Вот, например, начало его перевода «Монолога Бараташвили»:

Собираюсь жить, очи видят свет,
Сила есть, и ум не теряет нить.
Сколько уже лет, сколько долгих лет
Собираюсь жить, собираюсь жить...

Согласитесь, что не часто из дремотного потока ремесленнических поделок удается извлечь столь изумительную строчку — грамматическую «неправильность»:

Я приду к тебе позавчера или в прошлом году...

Это — перевод Ю. Левитанского. А в другом его переводе — «Нелетная погода» — на первый взгляд ничего не происходит. Из-за обложного дождя человек не может улететь в свой город, слоняется по аэродрому, наблюдает пассажиров и летчиков и повествует о них с лиричной, тонко уловленной в подстрочнике иронией, присущей М. Квливидзе. Но раз за разом рефрен:

...и словно на долгие годы
отменяются вылеты из-за нелетной погоды...

как почти всегда у поэта, приобретает притчевый подтекст, который проецируется на творчество, на вечный для художника страх «не взлететь». Ему кажется, что эти стихи — последние и что больше не напишется ни строки. Трактовать смысл этого стихотворения можно и шире, но нам важно отметить, что такие «поэтические безделки», а на самом деле — клубни ассоциаций (именно клубни как нечто связанное с

землей, с корнями жизни и поэтической традиции) — надо уметь прочесть и представить, что́ стоит за всем стихотворением после финальной точки.

Поздний М. Квливидзе намеренно не выходит за рамки быта — темы, говоря высокопарно, общечеловеческой. Его можно назвать бытовым мифотворцем, который, переосмысливая повседневность, не просто поэтизирует ее, придавая самым прозаическим предметам символическое значение (так, телевизор — «прибежище душ одиноких»), но подчас раздвигает границы быта до библейской вневременности (как, например, в стихотворении «Притча» в переводе Е. Евтушенко, которое своею будничностью напоминает «Тайную вечерю» Н. Ге). Бытовизм не существует в отрыве от автобиографичности, и читатель оказывается втянутым в сюжетные перипетии жизни поэта; однако, как нам кажется, достоинством стихов М. Квливидзе является то, что в них автобиография дается в основном пунктиром, без лобовых признаний, дешевых откровений и биения себя в грудь кулаком; судьба словно окутана облачком, сквозь которое, как сквозь фильтр, пробиваются только подвергающиеся катарсису чувства.

Необычное созвучие быта и мифа дает возможность поэту, не считаясь с временной дистанцией, говорить в своих стихах от имени Н. Бараташвили и Д. Гурамишвили, запросто входить в их внутренний мир и помогать нашим душам познать себя в своем бессмертии. В сознании М. Квливидзе, как и вообще в сознании грузина, умерший — просто ушедший ненадолго человек, который вернется; поэтому с течением лет в стихи врывается все больше людей, которых поэт любил, нет, любит по-прежнему, и, когда он пишет в «Монологе Гурамишвили»: «Где вы, Георгий, Тенгиз и Симон? Боже мой!..», читателю нет нужды копаться в биографии великого поэта и выискивать фамилии его друзей, ибо в поэтике М. Квливидзе время спрессовано настолько, что этим Симоном могут быть и крестьянин из родного села Д. Гурамишвили или М. Квливидзе, и поэт Симон Чиковани, и многие другие, — все они сидят за одним столом, провозглашают тосты, спорят и соглашаются друг с другом и, если кто-то из них отлучится из дому, то не навсегда...

Стремление поэта преодолеть формальную мишуру стиха и прозреть вечные, почти в пограничном проявлении, миги выражений разнообразнейших чувств приводит его к верлибру. Это не дань моде, не случайная прихоть мастера рифмованного стиха, чьим сторонником он был всегда, а явная

потребность души. С годами, что клонят «к суровой прозе», стихи замедленнее просачиваются из памяти, и то, что высказать необходимо, высказывается напрямик и как никогда серьезно. Боль не терпит украшательств. Я. Ивашкевич писал, говоря о своем пути к простоте: «Все проще становится ритм, рифма исчезает, остается лишь в зачаточной форме...» То же происходит и в творчестве М. Квливидзе, который утверждает верлибром, что боль невозможно (если не кощунственно!) зарифмовывать. И на смену рифме приходят интонационные паузы верлибра — контрапункты судьбы, боли и надежды, — становящиеся элементами формы, как точки или тире, но на более высоком уровне — нравственном. Эти умолчания говорят больше, чем слова, ибо вначале — до Слова — был Вздох!

По меньшей мере странными кажутся бесконечные дискуссии на тему «Быть или не быть верлибру», поскольку он был и есть. Но право на него — выстраданное право.

М. Квливидзе вышел на новый виток творчества, отмеченный высоким и светлым трагизмом. В его последнем сборнике «Лицо» доминируют две темы — боли и жизни, которые — синонимы. Как в этом стихотворении, вдохновенно переведенном В. Леоновичем:

Что это? Что это — милость твоя или кара?
Господи, не нахожу подобающих слов.
Сил моих нет — я не вынесу этого дара,
как ветхая звонница — оживших колоколов.

Жду и прислушиваюсь к пробужденному звуку.
Жду и себя заклинаю: мужайся, изволь
редкою честью считать одинокую муку,
радостью называть эту жизнь, эту боль...

●

МАРКЕВИЧ Александр Юрьевич. Род. в 1956 г. Окончил Институт иностранных языков им. М. Тореза. Переводчик с французского и английского. Из грузинских поэтов переводил О. Чиладзе, Б. Харанаули, В. Джавахадзе и Д. Бедианидзе. В настоящее время работает над переводами французской классической и современной поэзии, которые войдут в антологию французской поэзии XIX—XX вв., а также над литературными портретами Отара Чиладзе и Бесика Харанаули.

Бесо ЖГЕНТИ

СОЮЗ СЕРДЕЦ

РЕЧЬ НА ЮБИЛЕЕ ГАБРИЭЛА СУНДУКЯНА В 1976 ГОДУ

Сто с лишним лет назад в своей знаменитой поэме «Видение», явившейся боевой программой и политическим манифестом национально-освободительного движения грузинского народа, его знаменосец Илья Чавчавадзе выразил вдохновенную мечту передовых сил эпохи о братском единении народов Кавказа, об их освобождении от тягчайшего социального и национального гнета, их светлом и счастливом будущем. Поэт писал:

Когда же племена Кавказа боевого,
небес достигшего вершиною крутой,
разъединенные объединятся снова,
единой мыслию, единою мечтой?
Когда своим лучом священная свобода
расплавит цепи зла и превозможет тьму,
и снова будет горд достойный сын народа,
что он принадлежит народу своему?

Как мечтали наши великие предшественники об этом светлом будущем человечества! И не только мечтали. Они боролись, трудились, творили, жи-

ли во имя осуществления светлых и высоких идеалов. К плеяде таких людей прошлого относится и тот, чей юбилей собрал нас сегодня. Мы пришли склонить голову перед его памятью и выразить глубокое благоговение нашему славному предку и предшественнику, во времена порабощения и насилия провозгласившему великие идеалы гуманизма, свободы, торжества правды и справедливости на земле.

Этим человеком был Габриэл Сундукян — великий сын армянского народа, основоположник и родоначальник армянской реалистической драматургии. И не только драматургии. Будучи родоначальником критического реализма в армянской литературе, значение творчества которого вышло далеко за пределы одной национальной культуры, он оказал огромное влияние на развитие грузинской и армянской литературы и театра.

Комедии Габриэла Сундукяна, в первую очередь «Пепо», относятся к числу лучших творений мировой комедийной литературы. В мировой комедийной драматургии, от Аристофана до Мольера, Гоголя и Островского, не создано ни одного произведения, рядом с которым мы не могли бы с полным правом поставить «Пепо» Габриэла Сундукяна.

Так бывает всегда. Все истинные произведения культуры, имеющие общечеловеческое значение, рождаются в недрах одной национальной литературы, вскормлены и взращены корнями одной национальной жизни, национальной почвы. Но поскольку в них поднимаются и решаются проблемы общечеловеческие, поскольку ими достигнуты высоты мирового художественного значения, они входят в общую сокровищницу цивилизованного человечества. Я считаю, что произведения Сундукяна, и в частности «Пепо», относятся к числу таких великих творений человеческого гения, творческой мысли. Недаром бессмертный соловей грузинского народа Акакий Церетели, назвав эту пьесу жемчужиной, не говорил, что это жемчужина армянской или грузинской драматургии; это жемчужина драматургии вообще, жемчужина художественного творчества вообще, и дело не в том, что в свое время она не могла прозвучать на мировой арене, что Дюма-сыну не удалось поставить эту пьесу в парижских театрах. Он, как мы знаем, опасался, что рядовой парижский зритель не поймет всей тонкости, идейной глубины, гражданского боевого пафоса этого творения Габриэла Сундукяна. Да и самому Островскому не удалось тогда осуществить свое намерение поставить эту пьесу на сцене Малого театра. В те времена творческим достижениям ма-

лых народов был закрыт доступ к уму и сердцу цивилизованного человечества. Ведь полвека назад и Руставели за пределами Грузии знали только крупные русские специалисты-ориенталисты. Но таково было положение колонизированных народов, лишенных прав выносить богатства своей души на мировую арену, на суд всего цивилизованного человечества.

Мы живем в такое время, когда все эти несправедливости истории исправляются, когда все народы, большие или малые, имеют возможность обратиться лицом ко всему человечеству. И нет сомнения в том, что Габриэл Сундукян, как и другие мастера культуры малых народов, займет свое достойное место в общей сокровищнице духовных ценностей всего человечества.

Габриэл Сундукян, его творчество — прекрасное доказательство мудрых слов Горького о том, что численность нации не имеет никакого влияния на талант писателя, что в истории достаточно примеров того, как малые народы выдвинули из своих недр писателей, мыслителей, художников общечеловеческого значения. Габриэл Сундукян — один из самых ярких примеров этой закономерности. На рубеже 60-х и 70-х годов, когда в русской, европейской литературе поднимался критический реализм, он явился одним из самых талантливых представителей этого нового направления в мировой литературе.

В своем творчестве Габриэл Сундукян проявил заостренное мастерство социального осмысления явлений жизни, исключительное умение типизировать жизненные процессы, создавать значительные художественные образы огромного социального обобщения. Большой гражданский пафос его творчества как гражданина своего времени, передового мыслителя эпохи в том, что в пору зарождения в нашей стране торгово-промышленного капитализма он с беспощадной правдивостью изобразил хищнический облик буржуа, богатея, капиталиста, показал его потребительское отношение к жизни и к человеку. И не только выразил протест и негодование народных масс к этой новой форме, еще более жестокой, беспощадной, бесчеловечной форме эксплуатации и грабежа народа, но и противопоставил ей волнительный художественный образ трудового человека, который воодушевлял и подымал народ, вселял в людей уверенность в победе, в торжестве правды и справедливости на земле.

Его Пепо — один из самых ярких образов во всей художественной литературе начала второй половины XIX века вообще, в котором воплощена

именно идея протеста и негодования трудового человека, его ненависть к миру грабежа и угнетения. А разве честность, прямота, бесстрашие, мужество, духовное рыцарство Пепо, его уверенность в том, что правда победит, что он когда-нибудь выйдет из тюрьмы и разоблачит всех, кто уродует и коверкает жизнь, что он отомстит им,—не выражение возвышенных чувств и мыслей всего трудового народа? Вот почему Пепо — предшественник всех тех миллионов людей, которые впоследствии поднялись до уровня революционного учения классовой борьбы, осуществили в нашей стране первую в истории социалистическую революцию и сейчас борются во всем мире за торжество на земле идеалов социализма и коммунизма.

Вот почему Габриэл Сундукян — наш великий предшественник, который дал нам, советским писателям, прекрасные образцы высокого реалистического искусства, большой типизации, социально заостренного отношения к действительности, мужества, гражданского мировоззренческого отношения к предмету изображения. Вот почему он наш настоящий учитель.

А вместе с тем Габриэл Сундукян наш соратник и современник в борьбе за торжество на земле священной, возвышенной идеи братской дружбы народов. Правда, армянский и грузинский народы испокон веков жили в братстве. Они трудились, боролись рука об руку, вместе проливали кровь, совместно отстаивали свою свободу и национальную независимость в титанической борьбе с иноземными завоевателями. Но эту дружбу и братство Габриэл Сундукян поднял на новую высокую ступень. Он считал Грузию, как и Армению, своей родиной. Он писал, что с одинаковым рвением служил одинаково дорогому его сердцу грузинскому и армянскому искусству. И в самом деле, как самозабвенно трудился Габриэл Сундукян для расцвета грузинского театра! Сам переводил свои пьесы на грузинский язык, любил братской любовью всех выдающихся деятелей грузинской культуры, дружил с ними. И все крупные деятели нашего театра и литературы отвечали ему такой же любовью.

Не может быть более волнующего, я сказал бы, до слез трогательного образца дружбы сынов других народов, чем дружба между Габриэлом Сундукяном и Акакием Церетели, Ильей Чавчавадзе, Васо Абашидзе, то есть всей передовой грузинской интеллигенцией того времени. Его знаменитое завещание — уникальный человеческий документ, проникнутый редкой теплотой сердца и мудростью.

Одно лишь это завещание — блистательная характеристика величия души и ума этого замечательного сына армянского народа.

Мы, писатели Армении и Грузии, берем этот пример как образец для себя. Свято чтут, продолжают эту великую традицию и те армянские писатели, которые живут в Грузии. Для них являются заповедью слова Сундукяна о том, что армяне, живущие в Грузии, вскормленные грузинской землей, будут всегда причастны ко всем радостям и бедам, ко всем торжествам грузинского народа. И не только армянские писатели, живущие в Грузии, но и все наши армянские братья-писатели. Мы, грузинские писатели, учимся дружить, трудиться, бороться на примере наших великих предшественников, среди которых наряду с Сундукяном самым святым для нас является образ нашего мудрого Ованеса Туманяна. Не можем мы сегодня, на этом празднике, не вспомнить этого исключительного человека, не вспомнить его слов, сказанных о Грузии:

Она покрыта сотней ран
И претерпела сотни мук,
Но ни убийство, ни обман
Ее не осквернили рук.
И меж преступной мглы и мути,
И зова вечного грядущих дней
Она указывает путь
Рукой приветливой своей.

С какой любовью, с каким уважением к Грузии и грузинскому народу сказаны эти слова! Великий Ованес звал грузинских поэтов, своих собратьев по перу, спеть вместе со всеми народами Кавказа могучую песню дружбы, братства, любви:

Пусть песня будет так светла,
и пусть гремит вдали,
И заглушает голос зла во всех концах земли.
И пусть, Кавказ, твои сыны
на голос наших лир
Сойдутся с вышины справлять многоязычный пир.

Вот мы и справляем многоязычный пир. Сегодня, в день юбилея армянского писателя, мы, грузинские и армянские писатели, русские и азербайджанские представители общественности, собрались на тот самый многоязычный пир, о котором мечтал Ованес Туманян. И наш Акакий Церетели! Хотя его бессмертные слова цитировались здесь не раз, я хочу снова вспомнить их. Потому что с этими словами любой честный и благородный грузин может обратиться к любому честному и благородному армянину: «Ты армянин, а я грузин, но все же братья мы родные. И отчий дом у нас один, Кавказа горы ледяные».

У нас один общий дом, мы братья родные, и никакие барьеры языковые не могут разъединить и оторвать нас друг от друга. Вся многовековая история наших народов слила нас воедино. Традиция светлых умов наших народов упрочивает, цементирует эту дружбу. В наше светлое время, в эпоху торжества братства народов, мы крепили и продолжаем крепить эту традицию. Незабвенный наш поэт И. Гришашвили, большой друг армянского народа, посвятивший Армении много замечательных стихов и других произведений, переведший стихи Ованеса Туманяна почти конгениально на грузинский язык, говорил:

Баку, Ереван и Тбилиси мой,
каких чудесных слов
сочетание.

Как хорошо выражено в этих словах единство трех наших закавказских народов. Но оно лишь одно проявление единства всей нашей многонациональной советской семьи народов, нашей дружбы, основы основ нашего движения вперед, нашей непобедимости, нашего торжества. Это то самое чувство, которое наш великий национальный поэт Галактион Табидзе назвал союзом сердец. Он говорил:

Народ бессмертен и велик,
он всех побед творец,
Какое счастье, что возник
такой союз сердец.

Пусть же, дорогие товарищи, живет, здравствует и процветает этот союз сердец, наша великая Советская Родина, беспримерная в истории человечества семья народов и племен!

Пусть здравствует наше социалистическое Отечество!

Пусть живет в веках и сияет в созвездии гениев человечества великий мастер слова, бессмертный наш Габриэл Сундукян!

Публикация
Э. Н. ГУГУШВИЛИ.

Цецилия КАЛАНДАДЗЕ

ОБРАЩАЯСЬ К ИСТОКАМ*

Грузины в культурной и общественной жизни России в первой половине XIX века

ПРОГРЕССИВНОЕ значение Георгиевского трактата и последовавшего за ним присоединения Грузии к России, а также исторических событий, изменивших всю дальнейшую судьбу грузинского народа, заметно сказалось и в области науки и культуры. С этого времени еще более возрастает интерес к истории, экономике, культуре и быту, естественно-производительным силам Грузии как со стороны самого русского правительства, так и со стороны передовых кругов и ученых России.

Культурные взаимосвязи России и Грузии развивались различными путями. Важную роль в упрочении этих связей играли труды русских ученых о Грузии. В свою очередь в Москве и Петербурге выходят оригинальные исследования грузинских ученых. Особую роль, особое значение в правильном ознакомлении с Грузией, с ее прошлым и настоящим, в упрочении

* См. «Литературную Грузию» № 6 1980 года; № 9 1982 года.

культурных взаимоотношений между русским и грузинским народами играли сами грузины — члены грузинской колонии, которые в то же время служили проводниками передовой русской культуры в Грузии, а также жившие в России представители семей ранней грузинской эмиграции.

Из среды ранней грузинской эмиграции и грузинской колонии начала XIX века вышли многие выдающиеся военные, государственные и общественные деятели, деятели науки и культуры. Активное участие в общественно-политической и культурной жизни России принимали и представители семьи Чилашвили (Чиляевых).

Особый интерес представляет деятельность братьев Чиляевых (Чилашвили) — Егора, Бориса и Сергея. Отец Чиляевых — Глаха (Гаврил) был милахваром (шталмейстером) царевича Вахтанга и владел землями вдоль реки Арагви. Когда в 1803 г. царевич вместе с другими членами грузинского царского дома выехал в Россию, Гаврил Чилашвили выехал туда вместе с ним и поселился с семьей в Петербурге.

Старший из его сыновей Егор Чиляев (1790—1838) был известным ученым, писателем и переводчиком, вращался в кругах прогрессивного русского общества.

Революционное мировоззрение декабристов, идеи Радищева, творчески освоившего и переработавшего применительно к русской действительности воззрения французских просветителей, определили направление научных трудов Егора Гавриловича Чиляева.

Плодом изучения трудов французских просветителей явилось то, что в 1810 г. 18-летний юноша публикует в Петербурге переведенное им на русский язык сочинение Монтескье «Арзас и Исмения», а через два года — исследование Мабли «Об изучении истории» в трех частях. В том же году выходит оригинальный труд Чиляева «Начертание права природного», на который оказало влияние течение философской исторической мысли Запада и в котором отразились передовые взгляды самого автора.

Известный общественный деятель Д. Кипиани в краткой характеристике Егора Чиляева пишет: «Егор Гаврилович один из первых среди грузин получил русско-европейское воспитание и образование и прекрасно знал историю грузинского народа»[1]. Образованный юноша был хорошим знатоком истории, философии, права, литературы и искусства.

---

[1] И. К. Ениколопов. Пушкин на Кавказе. Тб., 1938, с. 52.

В 1812 г. Академия наук в Петербурге издала переведенные Е. Чиляевым с грузинского языка «Письма грузинского царевича Вахтанга Ираклиевича», а в 1819 г. — переведенный им же с французского труд «Предварительное понятие к познанию натуры». Кроме того, в 1813 г. он написал «Песнь на кончину М. И. Голенищева-Кутузова Смоленского». Е. Чиляев являлся одним из деятельных членов масонской ложи А. Ф. Лабзина «Умирающий сфинкс», в которую он вступил «учеником» в сентябре 1815 г., а затем стал «товарищем» в июле 1816 г., «мастером» — в мае 1817 г., «ритором» — в 1818 г. и «надзирателем» — в 1821 г.

В 1815—1821 гг. Егор Чиляев служил в Петербурге, а в 1822 г. был направлен на службу в Грузию на пост прокурора Верховного Грузинского правительства. Чиляев обладал не только глубокими знаниями в области юридических наук, но и был знатоком местных законов и особенностей страны. Поэтому его деятельность в Грузии была весьма плодотворной. Например, в результате его настояний был увеличен судебный аппарат и усилен контроль над учреждениями. Следует упомянуть, что когда был поставлен вопрос о новом переводе и пересмотре грузинских законов — «Уложения царя Вахтанга», в апреле 1822 г. была образована специальная комиссия. В ее состав под председательством генерала Ховена вошли Е. Чиляев, Н. Палавандов, Н. Чубинов и др. В июле 1824 г. работа по переводу на русский язык законов царя Вахтанга VI была окончена.

В 1828 г. «Сборник законов царя Вахтанга» был издан для судопроизводства в Грузии. Чиляев старался также улучшить положение крепостных крестьян. Он явился инициатором открытия в Тбилиси суда, разбиравшего уголовные и гражданские дела, в котором принимали участие представители различных сословий. Чиляев составил проект «О дозволении крестьянам Грузии платить самим за себя состоявшуюся по торгам и переторжке цену». В 1824 г. этот проект был утвержден Государственным советом. Крестьянам разрешалось выкупаться, когда за долги помещичье имение продавалось с торгов. «...выкупившиеся таким путем крестьяне приобретали личную свободу и право собственности на землю, на коей были поселены и вступали в число свободных хлебопащцев»[2].

---

[2] Полное собрание законов, т. XXXIX, № 29806.

В 1826—1827 гг. Чиляев снова приехал в Петербург и служил там в министерстве финансов. В это время министр финансов И. Ф. Канкрин выступил инициатором всесторонних описаний Кавказа и изложил по этому поводу свои доводы в докладной записке Николаю I. Главнейшей трудностью в лучшем устройстве Закавказского края Канкрин считал способ подготовки нужных сведений и план устройства для обсуждения правительства. Канкрин предлагал сначала произвести обследование только финансовой части. С этой целью в распоряжение генерал-губернатора Грузии Пас евича от министерства финансов был командирован Чиляев. Можно предположить, что Канкрин специально подобрал для проведения обследования грузина, т. к. знание грузинского языка, безусловно, имело большое значение в успешном осуществлении поставленной задачи. Чиляев приступил к обследованию с горных местностей. В сентябре 1827 г. он закончил описание ущелий Хеви, Гудамакари и др.[3]

Помимо финансового описания, Чиляев составил для министерства финансов две весьма ценные исторические записки: первая записка касалась горных грузин и осетин и содержала интересующие министерство сведения относительно податей и повинностей, скотоводства и земледелия в обследованном им районе; вторая же была посвящена вопросам торговли по Военно-Грузинской дороге. В записке о податях Чиляев обосновывал, что подати и повинности в обследованном им районе по сравнению с другими местами гораздо тяжелее, и высказывал мнение, что их следует уменьшить. В записке о торговле Чиляев предлагал организовать торговую кампанию, которая способствовала бы, с одной стороны, росту торговли в этом районе, и в зависимости от этого, улучшению материального положения жителей, а с другой — увеличению доходов государства.

С 1830 г. Чиляев переезжает в Грузию и назначается управляющим канцелярией военного губернатора, а с 1833 г.— чиновником особых поручений при главноуправляющем граж-

---

3 Управляющим горскими народами, жившими по Военно-Грузинской дороге, был его брат Б. Чиляев, что, видимо, способствовало Е. Чиляеву в успешном выполнении задания.

данской частью и пограничными делами Грузии в Кавказских и Закавказских областях.

Следует упомянуть, что Чиляев был в близких дружественных отношениях с А. С. Грибоедовым, который в своем письме Паскевичу от 3 декабря 1828 г. ходатайствовал перед ним об устройстве Чиляева на службу и давал ему весьма положительную характеристику как образованнейшему и честнейшему человеку. Из Грузии Чиляев был переведен в Ленкорань, где он умер и похоронен в 1838 г.

Следует отметить, что в масонской ложе Лабзина было три брата Чиляевых: Егор, Борис и Константин. Особенно интересен своими литературно-общественными связями младший из братьев Чиляевых — Борис Гаврилович.

Борис Гаврилович Чиляев (генерал-майор, 1798—1850) воспитывался пансионером в горном кадетском корпусе в Петербурге. Здесь в одно время с ним учился известный в будущем писатель-демократ А. А. Бестужев-Марлинский, который в своем письме к Н. А. Полевому от 9 марта 1833 г. (приводим ниже) называет Чиляева своим «старым однокашником». Случилось так, что учеба и служба его в Петербурге протекали в окружении декабристов.

В 1819 г., будучи прапорщиком лейб-гвардии Финляндского полка, Б. Чиляев под влиянием старшего брата Егора Гавриловича, одного из активнейших членов масонской ложи Лабзина «Умирающий сфинкс», был принят в нее «учеником». В протоколах ложи находим запись о принятии «прапорщика лейб-гвардии Финляндского полка Б. Г. Чиляева учеником ложи». В том же году он был произведен в капитаны того же полка.

В Финляндском полку в одно время с Б. Чиляевым служили М. Ф. Митков, Н. П. Репин, А. Е. Розен и другие передовые личности, принадлежавшие к тайным обществам.

«В Петербурге братья Чилашвили, по-видимому, были вхожи в дом Бестужевых. А. А. Бестужев писал матери с Кавказа 13 апреля 1837 г. о Б. Чилашвили, как о знакомом человеке. Имя этого «старого однокашника» Бестужева-Марлинского часто встречается и в других письмах писателя-декабриста (к Н. А. Полевому, 1833 г., к брату Павлу, 20 мая 1837 г. и т. д.).

После поражения восстания декабристов, среди которых у Б. Чиляева было много друзей, он не захотел оставаться в Петербурге. По собственному желанию вышел из гвардии и

перешел на службу на Кавказ в 7-й (впоследствии Эриванский) карабинерный полк в чине майора[4].

После участия в русско-иранской войне Б. Чиляев с 3 февраля 1828 г. (по 28 июня 1829 г.) по распоряжению Паскевича, командовавшего тогда отдельным Кавказским корпусом, был назначен правителем горских народов по Военно-Грузинской дороге и жил в селении Квешети.

В это время он познакомился с Грибоедовым, ехавшим в Тифлис. Прибыв в Коби 3 июля 1828 г., Грибоедов был встречен Борисом Чиляевым, у которого он отобедал и переночевал, так что отъезд пришлось отложить до следующего дня[5].

Здесь же довелось встретиться Чиляеву со старым товарищем А. Бестужевым.

В 1829 г. Пушкин, проезжая по Военно-Грузинской дороге, 23 мая прибыл в Коби, близ которого, как уже было сказано, жил Б. Чиляев. Пушкину вместе с его спутниками предстояло переехать через Крестовый перевал. Пушкин обратился с письмом к Чиляеву с просьбой принять его у себя. Письмо Пушкина к Чиляеву сохранилось[6].

О посещении Б. Чиляева Пушкин пишет в «Путешествии в Арзрум»: «Я ночевал на берегу Арагвы, в доме г. Ч. (Чиляева. — Ц. К.). На другой день я расстался с любезным хозяином и отправился далее»[7]. Письмо декабриста А. Бестужева к Н. А. Полевому подтверждает этот факт: «Я сломя голову скакал по утесам Кавказа, встретить его (Пушкина. — Ц. К.) повозку; мне сказали, что он у Бориса Чиляева, моего старого однокашника; спешу, приезжаю, — где он? ...Сейчас лишь уехал и, как нарочно, ему дали провожатого по новой, околесной дороге, так что он со мной и не встретился»[8].

---

[4] В. Шадури. Декабристская литература и грузинская общественность. Тб., 1958, с. 554—555.

[5] «Русская старина», т. XI, 1874, с. 293.

[6] Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина. М., 1903.

[7] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 454.

[8] «Русский вестник», 1861, № 4, с. 436; Л. Майков. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899, с. 384.

Нельзя не считаться с доводами И. К. Ениколопова, что, видимо, Пушкин был настолько хорошо знаком с Б. Чиляевым, что вместо того, чтобы заночевать на станции Чайнаури или Пасанаури, где останавливались все путники, он воспользовался гостеприимством Б. Чиляева.

Судя по написанным к Б. Чиляеву разными лицами письмам как опубликованным Б. Модзалевским в «Русском архиве» в 1904 г., так и остающимся еще в рукописях, Б. Чиляев был веселым, остроумным, образованным и благожелательным человеком. У него было много друзей, искренне к нему расположенных и ценивших его, и это также свидетельствует о его личных достоинствах.

Третий из братьев Чиляевых — Константин Гаврилович (умерший молодым) тоже был членом масонской ложи. По дошедшим до нас сведениям, в 1819 г. он работал в должности канцеляриста, был принят в марте того же года «учеником» в ложу «Умирающего сфинкса».

С передовыми кругами русского общества был близко связан также четвертый из братьев Чиляевых — Сергей Гаврилович — воспитанник горного кадетского корпуса, по окончании которого в 1817 г. юнкером вступил в знаменитый лейб-гвардии Финляндский полк. В 1850 г. он был произведен в генерал-майоры с назначением Шемахинским военным губернатором. Эту должность он занимал до 1857 г., когда был причислен к министерству внутренних дел и переселился в Петербург. За отличие в сражении под Елисаветполем он был награжден орденом Анны 3-й степени, за участие в боях за взятие Эривани — золотой саблей с надписью: «За храбрость». С. Чиляев участвовал в турецкой кампании 1828 г. и в осаде и взятии крепости Карс.

О том, что С. Чиляев был близок к прогрессивным кругам современного ему русского общества, свидетельствует его письмо к Н. Н. Раевскому от 22 сентября 1830 г.[9], а также упоминание о нем в «Памятных записках» Петра Бестужева: «Предавая забвению большую часть новых знакомцев моих, я опишу только тех, которые были ближе мне в настоящем жребии (ссылка на Кавказ. — Ц. К.) или казались замечательными в каком-нибудь отношении»[10]. В списке дается характеристика почти тридцати лиц — Пушкина, Грибоедова, декабристов Цебрикова, Пущина, Коновницына, Лаппа, Бо-

---

[9] «Архив Раевских», т. II, 1909, с. 11—14.

[10] Петр Бестужев. Памятные записки.

диско — и среди них С. Чиляева, о котором Бестужев отзывается следующим образом: «С. Г. Чиляев — любезный, добрый молодой человек: всегдашняя готовность к благородному делу обнаруживает в нем искру и присутствие добродетели и чувств возвышенных... Он грузин по происхождению, но искренне желал бы я, чтоб мое отечество имело более таких пасынков»[11].

По предположению некоторых исследователей, С. Чиляев во время службы в Белгородском полку под командой Н. Н. Раевского встречался с Пушкиным, который в период похода в Арзрум в 1829 г. жил в палатке у Раевского. Следует отметить, что сын Егора Чиляева — Михаил Егорович — лицеист выпуска 1839 г. учился вместе с Петрашевским.

* * *

Большую известность в области русской литературы и журналистики первой половины XIX века приобрел писатель Петр Иванович Шаликов (Шаликашвили), принадлежавший к представителям семей ранней грузинской эмиграции. Семья Шаликашвили приехала в Россию вместе с Вахтангом VI. Отец Петра Шаликова — Иван был кавалерийским офицером грузинского гусарского полка. В 1797 г. премьер-майор Иван Шаликов командовал эскадроном гусарского имени генерал-лейтенанта Шевича полка.

Петр Иванович Шаликов[12] получил хорошее домашнее образование и так же, как отец, поступил на службу в один из кавалерийских полков. Он отличился в штурме Очакова и других войнах, обратил на себя внимание военного начальства и стал быстро повышаться в чинах.

---

[11] Там же, с. 364.

[12] О Шаликове см.: Н. И. Булич, «Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX века», т. 1, СПб., 1902, с. 110—112; Галахов, «Историческо-литературная хрестоматия нового периода русской словесности», т. II, СПБ., 1892, с. 175—179; М. А. Дмитриев, «Мелочи из запаса моей памяти», М., 1869, с. 88—95, Р. Б. Чичинадзе «Петр Иванович Шаликашвили (Шаликов). (Жизнь и творчество)», Тбилиси, 1959 г. и др.

Когда Шаликов вышел в отставку, он поселился в Москве в собственном доме на Пресне и всецело занялся литературной деятельностью.

Десятки лет он был редактором «Московских ведомостей» и издателем журналов «Московский зритель», «Аглая» и «Дамский журнал».

Печатать свои прозаические и поэтические произведения он начал не сразу, а лишь с 1796 года, впервые выступив со стихотворением «Истинное великодушие». В следующем году он опубликовал свое второе стихотворение «Аравийский пустынник», а в 1798 г. было напечатано его известное стихотворение «Гробницы».

В 1798 году выходит в свет первая часть сборника стихотворений Шаликова под заглавием «Плод свободных чувствований». Вторая часть этого сборника была напечатана в 1799 году, а третья — в 1801 году. В этот сборник вошли как стихотворения, ранее напечатанные в журналах, так и новые. Этот сборник вполне определил направление поэзии и вообще творчества Шаликова в сентиментальном стиле, характеризующем Карамзина. Произведения Шаликова понравились тогдашней читающей московской публике, и она приняла его очень хорошо. Многие находили у него манеру Карамзина и видели в нем «будущего преемника «Писем путешественника». Шаликов специально совершил две поездки на Украину — в 1803 и 1804 гг. с целью описать эти путешествия по примеру Карамзина. Результатом этих поездок были изданные в 1803 г. «Путешествие в Малороссию» и в 1804 г. — «Другое путешествие в Малороссию». Описание своего третьего путешествия в Кронштадт он поместил в издававшемся им в 1806 году «Московском зрителе».

Журнал «Московский зритель» Шаликов начал издавать в 1806 году. Кроме Шаликова, в нем принимали участие Б. К. Бланк, В. Л. Пушкин, В. В. Измайлов, А. П. Бунина и И. А. Крылов. Помимо вышеупомянутого путешествия в Кронштадт, в этом журнале были еще напечатаны несколько статей и рассказов и ряд стихотворений Шаликова, преимущественно посланий к Б. Бланку, А. П. Буниной, И. М. Долгорукому и другим. В 1808 году Шаликов начал издавать журнал «Аглая», в котором сотрудничали тот же В. В. Измайлов, И. А. Крылов, а также А. Ф. Мерзляков, И. И. Лажечников и некоторые другие известные в то время ли-

тераторы. Журнал «Аглая» просуществовал до 1812 г. — до начала Отечественной войны. Несмотря на приближение французов к Москве, Шаликов и не допускал мысли о возможности занятия ее и был застигнут неприятелем врасплох со всей своей семьей. Проведя в Москве все время, пока она была занята врагом, Шаликов стал очевидцем многих ужасов, которые выпали на долю этому городу. О пребывании (с 1-го сентября по 16-е октября) французской армии в Москве Шаликов издал в 1813 году небольшую книгу под заглавием «Историческое известие о пребывании в Москве французов 1812 года». После Отечественной войны Шаликов по-прежнему продолжал много писать, публикуя свои произведения в некоторых тогдашних периодических изданиях, а также выпускал их и отдельными изданиями. Так, в 1814 году он напечатал книгу «Остров Эльда и новый Санчо Панса», в следующем году — «Мысли, характеристики и портреты», в 1816 году — «Послания в стихах», в 1819 году — «Повести» и «Собрание сочинений» (1824), в 1820 году — «Послание к графу Румянцеву» и проч. В то же время, как упоминалось выше, с 1803 года Шаликов состоял редактором «Московских ведомостей». Руководство этой «большой политической газеты продолжалось почти 25 лет». Помимо «Московских ведомостей», Шаликов с 1823 по 1833 годы редактировал и издавал еще свой собственный «Дамский журнал», который по своей направленности был как бы продолжением «Московского зрителя» и «Аглаи».

Следует упомянуть, что Шаликов известен и как переводчик. Ему принадлежит перевод книги Шатобриана «Воспоминания об Италии, Англии и Америке» (1817); Жанлиса «Новые повести» в 2-х частях и т. д.

Шаликов был в близких отношениях с А. С. Пушкиным, он печатал в издаваемых им журналах произведения великого писателя. Известно, что Пушкин посвятил Шаликову мадригал, включенный им в «Разговор книгопродавца с поэтом», помещенный перед первой главой «Онегина», вышедшей в 1825 году. Вот что писал он по этому поводу Вяземскому: «Ты увидишь в «Разговоре» мадригал Шаликову. Он милый поэт, человек достойный уважения, и надеюсь, что искренняя и полная похвала с моей стороны не будет ему

неприятна. Он именно поэт прекрасного пола»[13]. В свою очередь Шаликов написал Пушкину в ответ стихотворение тоже в форме мадригала, напечатав его в издаваемом им «Дамском журнале». По-видимому, Пушкин решил, что Шаликов в обиде на него за мадригал, и поэтому во всех последующих изданиях «Евгения Онегина» внес изменение и вместо «Шаликов» пишет «юноша»[14].

Шаликов умер в возрасте 84 лет, посвятив всю свою жизнь литературе, издательской и редакторской деятельности.

Произведения Шаликова печатались как в издававшихся им журналах, так и в таких изданиях, как «Северный вестник», «Вестник Европы», «Труды общества любителей российской словесности», «Московские губернские ведомости», и других.

Как первая женщина-журналистка в России вошла в историю русской литературы дочь Петра Ивановича Шаликова — писательница Наталья Петровна Шаликова. Иногда она выступала под псевдонимом Е. Нарская. Ее произведения печатались в таких периодических изданиях, как «Современник», «Русский вестник», «Московские губернские ведомости», «Русский мир», «Беседа», «Рассвет», и других. Из ее известных четырнадцати произведений выделяются роман «Две сестры» и повесть «Из-за куска хлеба». Эти произведения по своему социальному звучанию представляют интерес и в настоящее время.

Сестра Петра Ивановича Шаликова писательница Александра Ивановна Шаликова является автором восьми произведений. В то же время она занималась и переводами. Ее произведения печатались в журналах «Время», «Приятное и полезное препровождение времени», «Дамский журнал» и др.

* * *

Совершенно в другой отрасли имеет крупные заслуги Егор Герасимович Челиев (Челидзе), выходец из семьи ранней грузинской эмиграции.

---

13 А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. XIII, М., 1937, с. 144, 184. Письмо Пушкина к Вяземскому от 19 января 1825 г.

14 В. Вересаев. Спутники Пушкина, т. II, М., 1937, с. 62, 63.

Известно, что отец Е. Г. Челиева — Герасим Давыдович — грузинский дворянин—был сначала прапорщиком грузинского гусарского полка, а затем, продвигаясь в чинах (1761 — поручик, 1767 — капитан), дослужился до звания секунд-майора (1769 г.). С полевой службы в кавалерии он по состоянию здоровья подал в отставку и был переведен в 6-й Киевский гарнизонный батальон[15].

Когда Г. Д. Челиев находился на военной службе, ему было пожаловано указом Анны Иоановны 10 дворов с их землями и 15 душ крепостных в местечке Соколке Новороссийской губернии.

Егору Челиеву было семь лет (родился он в 1771 г. в селе Набережном Саратовской губернии), когда умер отец. Его мать в 1778 г. продала имение и переехала в Царицын. С шестнадцати лет он уже начал работать уездным землемером.

С 1800 года Челиев начинает работать в Москве межевым землемером, а в 1804 году, получив чин титулярного советника, является уже генеральным землемером I класса при Московской межевой канцелярии. Здесь он проработал до 1817 года, пока был направлен на ответственную должность директора 1-го отделения чертежной мастерской при комиссии для строений в Москве. Следует отметить, что кандидатура Челиева была представлена на основании обращения Комиссии к московскому военному генерал-губернатору А. П. Тормасову с просьбой «...о присылке в комиссию с хорошими познаниями и способностями чиновника для управления 1-м отделением чертежной»[16].

Насколько ответственной была задача Челиева как руководителя 1-го отделения и насколько он был признан как крупный специалист, можно судить по тому, что на первое отделение возлагалось: «1) измерение в натуре как всей Москвы, так и по частям города и по отдельным владениям, улицам, площадям и переулкам; 2) сочинение геометрических планов с натуры; 3) назначение в натуре линий улиц, площадей, казенных и обывательских строений по прожектированному плану», обязанность же второго отделения состояла: 1) в со-

15 Умер Г. Д. Челиев в 1778 г.

16 Московский областной исторический архив, ф. 163.

чинении планов и фасадов на обывательские строения и надзоры за прочностью их постройки; 2) в наблюдении за производством строения по прожектированным линиям и по выдаваемым планам и фасадам; 3) в наблюдении за добротностью строительных материалов и выделкой кирпича по данной форме и установленной пропорцией белого камня»[17].

В «Записке» от 20 августа 1817 г. Комиссии для строений московскому военному генерал-губернатору было сказано, что «господин Челиев, вступая в должность директора Чертежной сей комиссии, отправляет оную с отличным успехом и ревностию»[18].

Основная задача, возложенная на Челиева, состояла в том, чтобы закончить разработку утвержденного Александром I в 1816 году генерального плана Москвы. Этот план был готов и подписан Челиевым 19 декабря 1817 г.

Здесь следует вспомнить, почему и как была создана эта комиссия и какие важные задачи были поставлены перед ней. Как известно, во время Отечественной войны пожар в Москве уничтожил более шести тысяч деревянных и около 200 каменных зданий. От взрыва, устроенного неприятелем, пострадали кремлевские сооружения.

С целью оказания помощи населению по восстановлению сожженных или разрушенных домов, а также Кремля была учреждена специальная «Комиссия для строений в Москве».

В «Московских ведомостях» было опубликовано, «в чем состояли задачи Комиссии»[19].

Для того чтобы провести огромные по объему восстановительные работы, было создано два военно-рабочих батальона, состоящих каждый из тысячи человек, которые находились в распоряжении комиссии для проведения этих работ. Отсюда ясно, что Челиеву принадлежит большая заслуга в восстановлении Москвы после нашествия Наполеона и что он может быть причислен к тем патриотам, которые не покладая рук работали, чтобы залечить раны, нанесенные врагом.

Деятельность Челиева в Комиссии для строений была оценена очень высоко.

---

[17] МОИА, ф. 163, журнал Комиссии для строений № 1, л. 5—12 (цит. по архивному материалу, переданному автору проф. А. И. Кочлавашвили).

[18] Там же, 4, № 50.

[19] «Московские ведомости» от 7 июня 1813 г.

Помимо своей основной работы в чертежном отделении, Челиев был занят также и гидротехническим строительством. Например, он предложил осушку проездов возле Рождественского монастыря. Проведение этой работы было признано «весьма нужным» и было одобрено.

Челиев занимался также теоретическими вопросами. В 1818 и 1819 гг. им была издана книга «Прожектированный план столичного города Москвы», в 1818, 1819, 1824, 1825 и 1832 годах посмертно была издана написанная им «Экспликация («Изъяснение»)» к прожектированному плану столичного города Москвы...». В 1824 г. был издан труд Челиева «Историческое описание о начале столичного города Москвы, ее распространении и славе». Эта работа, так же как и «Экспликация», была переведена на французский язык.

В 1820 г. Челиев разработал проект водоотводного канала на Москве-реке для устранения затопления проездов по набережной во время весеннего разлива рек.

Он составил сметы на постройку бассейна и фонтана и самотечного пруда и других объектов подобного рода. Следует упомянуть, что Челиев руководил работами по закрытию канала реки Неглинной.

В 1821 г. он был назначен также и начальником мастерских команд 2-го разряда Военно-рабочей бригады Комиссии для строений. Однако через год вследствие большой сложности совмещать деятельность директора 1-го отделения чертежной мастерской и начальника мастерских команд 2-го разряда Военно-рабочей бригады Комиссии для строений он остался только на второй должности[20].

Мастерские команды под руководством Челиева были заняты работами по планировке, нивелировке и мощению Москвы, устройству водопроводов и водостоков, а также составлением смет, разработкой планов и выполнением работ по устройству каналов, бассейнов и др.

В характеристике Челиеву, подписанной инженером генерал-майором О. Витте, включенной в формулярный список руководителей мастерской команды на январь 1825 года, сказано, что Челиев «...знает арифметику, геометрию, артилле-

[20] МОИА, ф. 163—4, № 118.

рию, скульптуру и гражданскую архитектуру, ...имеет способности хорошие». Начальником мастерских команд Челиев работал до 1829 г.

Однако самой большой заслугой Челиева, ставящей его в один ряд с мировыми изобретателями, являлось изобретение им искусственного романцемента.

В 1825 году им был выпущен труд, в котором был обобщен богатый опыт производства и применения цемента, полученный в процессе проведения восстановительных и строительных работ в Москве, «по опыту произведенных в натуре строений» (как говорится в книге) «Полное наставление, как приготовлять дешевый и лучший мертель или цемент, весьма прочный для подводных строений, как-то: каналов, мостов, бассейнов, плотин, подвалов, погребов — и штукатурки каменных и деревянных строений».

Книга состоит из введения и разделов: составление мертеля или цемента, употребление мертеля, объяснение прилагаемых рисунков и общее примечание к составлению предложенных мертелей. В ней «...автор наряду с описанием опытов и практики цементного производства затрагивает также вопросы теории его и экономики»[21].

Какая же судьба постигла изобретение Челиева, имеющее мировое значение? Российская Академия наук не обратила внимания на изобретение Челиева, но научно-технические круги России дали должную оценку его труду. В отзыве на книгу Челиева управляющего III округом путей сообщения инженера-полковника Яниша на имя Главноуправляющего путями сообщения А. Виртембергского дается высокая оценка труду Челиева и говорится о пользе его опубликования. В подтверждение практического значения изобретения Челиева он ссылается на то, что у нескольких устроенных Челиевым в Москве бассейнов для фонтанов каменная кладка «совершенно противустоит действию воды от качества твердеющего в оной мертеля». Положительную оценку труду Челиева дал также Совет путей сообщения в своем журнале от 12 мая 1826 г. Было решено разослать 200 экземпляров книги Челиева инженерам путей сообщения, чтобы они «приняли во внимание и использовали на практике способ Челиева по составлению и употреблению цемента в строительстве гидрав-

[21] И. Л. Значко-Яворский. Е. Г. Челиев — изобретатель искусственного романцемента.

лических сооружений»[22]. Следует упомянуть также, что в 1827 году Комиссия для строений в Москве предлагала применить цемент Челиева в гидротехническом строительстве, ссылаясь на опыт и исследования Совета корпуса путей сообщения. Об этом в «Записке» от 2 марта 1827 г. к плану строительства самотечного канала в Москве сказано, что гораздо выгоднее для государства для смазки железного кирпича, которым выложен канал, использовать изобретенный Челиевым мертель, который, как известно московскому генерал-губернатору по опыту и исследованиям Совета корпуса путей сообщения, оказался для гидравлических строений более прочным и выносливым.

Челиеву принадлежит еще одно изобретение в области строительных материалов.

В декабре 1829 года он представил московскому генерал-губернатору записку «О устроении в Москве подземных каналов для стоку уличных вод вместо деревянных из составленной вновь базальтовой массы». Он предлагал в связи с восстановительными работами в Москве заменить непрочные и дорогостоящие деревянные и кирпичные трубы изобретенными им базальтовыми трубами. Однако за неимением средств Челиев не смог наладить производство этих труб.

Следует предположить, что некоторые русские специалисты строительного дела, например инженеры-путейцы, которым была роздана книга Челиева для руководства, практически использовали изобретенный Челиевым способ изготовления цемента.

Несмотря на это, в условиях царской России изобретение не было широко внедрено в практику строительного дела. Изобретение Челиева было забыто, оно не было запатентовано, но остался его труд, который является ясным доказательством того, что его автору принадлежит изобретение искусственного романцемента. Однако в капиталистическом мире судьбу и приоритет изобретения решает патент. Поэтому всемирное признание как изобретатель цемента получил не Челиев, а английский каменщик из Лидса Джозеф Аспдин (1779—1855), который узаконил это тем, что хотя изобрел

[22] Цит. по архивному материалу, переданному автору проф. А. И. Кочлавашвили.

цемент в одно время с Челиевым, но 21 октября 1824 года запатентовал свое изобретение. Таким образом, несмотря на то, что Челиев и Аспдин изобрели искусственный романцемент в одно и то же время, независимо друг от друга, Аспдин вошел в историю как изобретатель цемента, а Челиев был забыт, и только после того как в 1948 г. Ф. М. Иванов и И. Л. Значко-Яворский и другие исследователи обнаружили в библиотеках Москвы и Ленинграда книги Челиева, его изобретение было оценено по заслугам и он был признан изобретателем искусственного романцемента наравне с Аспдином. Однако, к сожалению, история уже сказала свое слово, и Джозеф Аспдин получил всемирное признание и вошел в мировую литературу как изобретатель цемента.

Об этом гласит и надпись, сделанная в 1855 г. на его могиле в Уикфилде «...Джозеф Аспдин... изобретатель патентпортландцемента». Еще более прочно вошел Аспдин в историю как изобретатель цемента через сто лет, когда американская портландцементная ассоциация совместно с Британской федерацией производителей цемента в октябре 1924 года торжественно отметила столетие изобретения цемента. По случаю этой даты в г. Лидсе в зале Городского совета была установлена мемориальная бронзовая доска со следующей надписью: «В память Джозефа Аспдина из Лидса, каменщика 1779—1855, чье изобретение портландцемента, запатентованное 21 октября 1824 года с последующим в течение столетия усовершенствованием в его производстве и использовании, сделало весь мир его должником.

Эта доска преподнесена Американской портландцементной ассоциацией по случаю совместного с Британской федерацией производителей цемента празднования столетия этого изобретения. Октябрь, 1924».

В заключение можно сказать, что Егор Герасимович Челиев по сравнению с Аспдиным был образованным человеком своего времени. Он оставил в своем труде практическую энциклопедию знаний по теории и практике производства и применения романцемента из искусственной сырьевой смеси. Книга Челиева стоит неизмеримо выше по своему уровню, чем проникнутое эмпиризмом и недомолвками патентное описание портландцемента каменщика Джозефа Аспдина[23]. Следует вспомнить также, что из сорока лет своей деятельности

[23] И. Л. Значко-Яворский. Е. Г. Челиев — изобретатель искусственного романцемента. Цит. изд., с. 10.

Челиев тридцать лет (до 1829 г.) проработал по строительству Москвы.

* * *

Большой интерес представляет также всестороннее освещение деятельности членов грузинской колонии, приехавших в Россию после присоединения Грузии к России. Их деятельность в основном развернулась в области грузиноведения.

Из них самые большие заслуги в области грузиноведения имеет выдающийся грузинский ученый и культурный деятель первой половины XIX века Теймураз Георгиевич Багратиони. Он приехал в Петербург в конце 1810 года, где остался до конца своих дней. Здесь он развернул большую и плодотворную научно-исследовательскую деятельность в различных областях грузиноведения. Теймураз получил широкое образование. Его воспитателем был известный Давид-ректор, ученик каталикоса Антония I. Ученый и знаток истории Грузии, зная отлично языки грузинский, русский, французский, латинский, армянский, персидский, турецкий[24] и арабский и изучив греческий, Теймураз занимался также переводами различных специальных трудов. По приезде в Петербург Теймураз начинает плодотворно работать, собирая материалы по истории Грузии. Из оригинальных печатных трудов Теймураза, изданных в Петербурге, следует назвать такие работы, как «История Грузии царевича Теймураза» груз. гражд. печати (СПб., 1848). Перу Теймураза принадлежит большое количество научных трудов, являющихся ценным вкладом в грузиноведение. В Петербурге Теймуразом была написана «Краткая жизнь Грузии или Георгии, что есть вся Иверия»[25], которая содержала историю Грузии с древнейшего

---

[24] Персидскому и турецкому языкам Теймураз научился во время пребывания в Персии. Там он изучал персидскую литературу и историю, что очень помогло ему в дальнейшей работе в области восточной филологии, а также в художественном творчестве — Теймураз писал стихи и поэмы.

[25] См. Собрание грузинских рукописей Коллекции Института народов Азии, ф. Н28 (25; Н20).

периода до 1801 г. Тогда же были сделаны русский и французский переводы этого труда — «Краткая грузинская история»[26]. Над указанным трудом Теймураз работал на протяжении двадцати лет.

Значительный интерес для истории этого многолетнего труда Теймураза представляет серия фрагментов к нему.

Фрагмент, содержащий часть предисловия: «Краткая история Иверии, иначе верхней и нижней Грузии, что есть вся Грузия», был написан приблизительно в 30-х годах XIX века. Он содержал четыре параграфа, посвященных вопросу о древнейшем происхождении грузинского народа и о границах Грузии по свидетельствам древних историков.

В первой четверти XIX века в Петербурге Теймуразом было составлено «Летосчисление (წელთაღრიცხვა) — конкорданс летосчисления «От рождества Христова» и грузинского хроникона за период с 1762 по 1860 гг.[27]

По просьбе Броссе, для использования в грузино-русско-французском словаре Д. И. Чубинова, изданном в 1840 г., Теймуразом в 1838 г. был составлен грузинский толковый словарь ботанических, орнитологических, ихтиологических и этнографических терминов, содержащий 174 термина, употребительных в разговорах и книжном языке[28].

Большой интерес и ценность представляет дневник путешествия Теймураза из Тифлиса в Петербург, совершенного во время переселения в Россию (со дня выезда — с 16 октября 1810 г. по день прибытия в Петербург 12 января 1811 г.). Дневник содержит интересные сведения о пунктах следования, о крепостях Кавказской линии и их вооружении, о церквах и монастырях Кавказа и русских городов, о посещении театра в Москве, об архитектуре Царского Села, о многочисленных встречах и беседах с отдельными лицами, например, с генералами С. А. Булгаковым и А. А. Мусиным-Пушкиным и полковником И. П. Дельпоцо. Можно сказать, что культурное общение Теймураза с прогрессивными представителями русского общества непосредственно начинается уже со времени въезда его в Россию. Например, по дороге в Петербург в декабре 1810 г. Теймураз останавливается в

---

[26] См. собрание грузинских рукописей Коллекции Института народов Азии, ф. Н28 (G 25; Н20).

[27] Там же, Н27 (G 41; Н19).

[28] Там же, Н38 (Н16).

Воронеже и Туле. Здесь он познакомился с местным нумизматом титулярным советником Петром Ивановичем Гардининым и осмотрел его обширную коллекцию «азиатских», греческих, славянских и других древних монет.

Из работ, написанных Теймуразом, следует назвать такие труды, как «К вопросу об истории Иберии испанской и Иберии кавказской», «История Месхетии». «Как и когда был основан Иверийский монастырь на Афоне и судьба, постигшая его», «Краткая повесть об Армази», и др.

Созданный Теймуразом вместе с другими грузинскими учеными кружок грузиноведения, в который входили видные грузинские ученые, развернул большую работу по изучению и собиранию памятников грузинской культуры. Теймураз Багратиони был тесно связан с выдающимся деятелем русской науки, ученым-кавказоведом Мари Фелиситэ Броссе (1802—1880), который в 1837 году по приглашению Российской академии наук переехал из Парижа в Петербург и с которым у Теймураза задолго до этого завязалась научная переписка. Они были связаны между собой узами дружбы до самой смерти. Теймураз оказал огромную помощь Броссе в его работе в области грузиноведения.

В некрологе, посвященном Теймуразу, Броссе писал: «Не могу без благоговения произносить имя Теймураза, в котором высокая нравственность сочетается с просвещенной мыслью и глубокой ученостью... Целью Теймураза является своими трудами обессмертить память о своем народе, учеником его, говоря по совести, считал себя я»[29].

Сам Теймураз также считал Броссе своим учеником. Например, в одном из его многочисленных писем к Броссе от 16 мая 1834 года сказано: «Старайся, читая письма, глубоко вникать в смысл, чтобы все правильно понимать. Если не поймешь что-либо, спроси у меня, чтобы не допустить ошибки, не то будет стыдно и грузины потом будут смеяться надо мной, какой, мол, у тебя ученик»[30].

---

[29] Журнал министерства народного просвещения, 1846, ч. II, отд. VII, с. 40.

[30] Институт рукописей им. К. Кекелидзе АН ГССР, ф. М. Броссе, № 37.

В журнале министерства народного просвещения Теймураз оценивался как знаменитый ученый, заслуживший в течение долголетней жизни всеобщее уважение и любовь, приобретший известность как в России, так и за ее пределами[31].

На торжественном заседании Российской академии наук 15 декабря 1837 года Теймураз Багратиони был избран почетным членом академии. Он был также членом парижского азиатского общества и других ученых обществ.

Теймураз Багратиони, проф. П. Иоселиани и проф. Д. Чубинашвили — грузинские ученые, научная и дружеская связь с которыми длилась у Броссе на протяжении многих лет. Их совместная деятельность нашла свое яркое отражение и в собирании грузинских рукописей для азиатского музея[32]. Постоянное общение с Теймуразом Багратиони, научные связи Броссе с учеными-грузинами все более расширялись. Это выражалось и в форме переписки и в личных встречах в Грузии, Москве и Петербурге. Живое общение с ними, разыскание документов в архивах, собирание рукописей способствовали обогащению коллекций азиатского музея.

Царевич Теймураз заложил твердые основы научного изучения истории Грузии, вместе с другими грузинскими учеными он создал кружок грузиноведения, который сделал очень много для развития грузинской культуры. «В течение почти полстолетия, — писал А. Цагарели, — Д. И. Чубинов и М. И. Броссе трудились на поприще грузинологии, поддерживая и помогая друг другу словом и делом, оттого и совершили в этой области так много»[33].

---

[31] См. Журнал министерства народного просвещения, 1846, ч. II, отд. VII, с. 40.

[32] После смерти Теймураза его богатейшая библиотека старопечатных грузинских книг и рукописей поступила в азиатский музей Академии наук в 1848 г. Это крупное приобретение вместе с другими незначительными по числу приобретениями, сделанными до и после 1848 г., составило замечательную коллекцию памятников грузинской литературы. В 1923 г. значительная часть этих коллекций была передана Грузии.

[33] А. Цагарели. Сведения о памятниках грузинской письменности, т. I, вып. 3-й, СПб., 1894, с. 11.

* * *

Таким образом, проследив в этой статье деятельность даже нескольких представителей грузинской колонии, живших в России в первой половине XIX века, можно сделать вывод, какую важную роль сыграли они в ознакомлении русской общественности с Грузией, в то же время, со своей стороны, служа проводниками передовой русской культуры в Грузии. Они способствовали дальнейшему развитию и упрочению культурных взаимоотношений между русским и грузинским народами.

О значении русско-грузинских взаимосвязей нельзя сказать лучше, чем сказал это товарищ Леонид Ильич Брежнев: грузины... «отстояли свою независимость, создали и сохранили самобытную, во многих отношениях уникальную национальную культуру. Благотворную роль при этом сыграло добровольное присоединение Грузии к России, веками углублявшаяся дружба с великим русским народом».

КАЛАНДАДЗЕ Цецилия Полиевктовна. Доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии им. И. В. Джавахишвили АН ГССР.

Луарсаб ЕГОРОВ

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ...

«НЕНАСТНЫЕ сумерки ви
сели над Поти...

Наш старый заржавлен
ный пароход стоял, накренившись
около каменного мола.

— Ну и страна! — сказал мн
капитан и плюнул за борт. —
Недаром французские моряки
зовут эти места «черноморской
клоакой»...

Грузчики-мингрелы прятались
под цинковыми крышами порто
вых складов. Зеленые их лица
казались в сумерках зловещими,
глаза блестели сухим, напряжен
ным огнем, руки дрожали.

— Все — малярики, — сказал
капитан. — Здесь не разгрузка,
а сплошное мучение»...

Эти слова Константина Геор
гиевича Паустовского вспомни
лись мне, когда я шел вместе с
секретарем партийного комите
та Потийского порта Зурабом
Аполлоновичем Гулардава.

Был теплый осенний день.
Порт гудел раскатистым басом
судов, визжал грохотом лебе
док, голосил сигналами автопо
грузчиков, снующих по его тер
ритории.

Яркое солнце, синее небо, го
лубое море, запахи соли и ры
бы, эвкалиптов и цитрусов —
вся эта величественная симфония
звуков и красок, сливаясь в
единое целое, создавала удиви
тельное ощущение радости и
полноты жизни.

Я процитировал по памяти
слова Паустовского партийному
вожаку потийских докеров. Я
сказал ему, что эту картину
большой мастер русского слова
писал с натуры 60 лет назад.

Зураб Гулардава ответил, что
даже не может себе предста

вить картины, описанной Паустовским. И это не удивительно. Секретарь парткома молод. Ему чуть больше тридцати...

Мы шли вдоль причалов. Зураб рассказывал о трудовых буднях портовиков. Называл цифры. И было они ярче слов. Он говорил о том, что за 60 лет Советской власти грузооборот Потийского порта увеличился в 200 (?!) раз. Сегодня портовики Поти за одни сутки обрабатывают грузов примерно столько, сколько 60 лет назад — за 9 месяцев!

В течение нескольких часов секретарь парткома знакомил меня со многими передовыми людьми порта — докерами, крановщиками, бригадирами, начальниками производственных участков. О каждом из них можно писать оды и снимать кинофильмы...

Здесь, в Потийском порту, начинаются и заканчиваются многие голубые пути-дороги. Отсюда в разные страны мира уходят станки и вычислительные машины с маркой тбилисских предприятий, уплывают по разным адресам быстроходные «кометы» на подводных крыльях, сработанные в Поти, и кутаисские автомобили, носящие символическое имя — «Колхида», идут руставские трубы и минеральные удобрения, чиатурский марганец и зестафонские ферросплавы, ароматный чай и кахетинское. Да разве перечислишь все.

Сюда, в Поти, для нужд нашей великой страны и Грузинской республики приплывают железная руда и уголь, лес и хлопок, пшеница и рис, сахар и заморские деликатесы — бананы, ананасы, апельсины...

Потийский порт—морские ворота Грузинской Советской Социалистической Республики. Круглый год, днем и ночью, не смолкает здесь разноязычный говор людей, представляющих многие страны и континенты.

А к вечеру, когда вокруг зажглись яркие электрические огни, секретарь парткома пригласил меня в Интернациональный клуб моряков.

Интерклуб — уютное светлое здание. Просторные, со вкусом оформленные в национальном духе холлы, комнаты отдыха, библиотека, ночной бар. Здесь можно и отдохнуть, и повеселиться, и послушать интересную лекцию, и встретиться с видными представителями грузинской науки и культуры, наконец, просто посидеть у телевизора — словом, хорошо провести вечер.

Директор Потийского интерклуба Серго Аласания знакомит меня со своими сотрудниками, рассказывает о работе. Коллектив здесь небольшой, но дружный, спаянный. Людей объединяет не только общность целей и задач, но и гордое сознание того, что они делают дело большой государственной значимости.

Ведь если говорить всерьез, то Интерклуб—не что иное, как миниатюрное зеркало советского образа жизни, своеобразная визитная карточка социалистической Грузии. От того, как здесь встречают и провожают заморских гостей, какое им создают настроение,—зависят не только их впечатления о Стране Советов, но, если хотите, формирование их мировоззрения. Задача заключается в том, чтобы дать им правдивую информацию о том, как живет, борется и созидает советский народ, как он выполняет исторические решения XXVI съезда КПСС, как трудятся советские люди, как готовятся отметить 60-летие образования СССР.

В течение вечера, проведенного в Интерклубе, мне была предоставлена возможность встретиться и побеседовать с иностранными моряками, просмотреть записи, сделанные в гостевых альбомах.

Я прочел там много добрых слов, сказанных в адрес сотрудников Интерклуба, в адрес нашей Родины, в адрес Советской Грузии. Это были не просто слова. Это были слова, идущие из сокровенных тайников матросского сердца.

Свои автографы оставили матросы, боцманы, капитаны судов, бороздящих под разными флагами просторы мирового океана.

Но, пожалуй, самое сильное впечатление оставляют письма, которые приходят в Интерклуб уже после того, как заграничное судно покинуло Потийский порт и благополучно возвратилось домой...

Первое письмо пришло из Соединенных Штатов Америки. От капитана судна «Игл тревелер». Помимо подписи капитана, в нем оставили автографы еще 14 членов экипажа:

«Мы хотим выразить сердечную благодарность за ваше исключительное гостеприимство. Клуб в течение нескольких дней был для всех нас родным домом.

Нам был оказан радушный прием, тепло которого мы почувствовали с первого же дня. Все это сделало наше пребывание в Поти прекрасным.

Еще раз благодарим вас. СПАСИБО. (Последнее слово написано по-русски). Да хранит вас бог! С миром и дружбой!»

Автор второго письма — капитан кубинского теплохода «Амбер айлендз» — тов. Мигель Мойя.

«Уважаемый Серго Ираклиевич! — обращается он к директору Интерклуба.

Мы, представители острова Свободы, тронуты теплотой, которая нас окружала. Ваш Интерклуб стал для нас родным домом.

Благодарим Вас, всех работников клуба и особенно гида — тов. Галину, которая дала нам возможность ознакомиться с большими достижениями Вашей прекрасной солнечной республики на всех участках коммунистического созидания.

У Вашей страны скоро славный юбилей — 60 лет образования СССР. Примите наши сердечные поздравления и горячий привет от Ваших братьев-кубинцев».

Третье письмо прислал капитан греческого теплохода «Марион» — господин Сумбурас.

«Мы сердечно благодарим нашего гида — мисс Нану, директора и всех работников Интерклуба. Спасибо за радушие, теплоту и грузинское гостеприимство, которые окружали нас в течение всех дней нашей стоянки в Поти.

Крепкого вам всем здоровья, Мира, Счастья и Любви».

Письмо четвертое. Автор — капитан индийского теплохода «Шах Джахан» — господин Гревaль.

«СССР, Грузия, Поти, Интерклуб, директору.

Сэр!

От имени членов экипажа теплохода «Шах Джахан», а также от себя лично выражаю сердечную благодарность Вам и Вашим сотрудникам за отличное гостеприимство, оказанное нам во время стоянки в Поти.

Всегда приятно посетить умело работающее учреждение, каким является Потийский интерклуб, но вдвойне приятно ви-

деть Ваше улыбающееся лицо и улыбающиеся лица Ваших сотрудников.

Ваши улыбки настолько искренни, что те, кто видит их, не могут не взять кусочек этих улыбок с собой в дорогу.

Всего, всего Вам самого доброго!»

...Поти — морские ворота Советской Грузии. Город славных боевых, трудовых и революционных традиций. Город, не трясущийся больше в малярийном кошмаре. Город, где за последние 20 лет не было ни одного случая заболевания малярией. А ведь 60 лет назад три четверти жителей Поти были больны лихорадкой. Да что люди, здесь даже куры болели малярией.

Поти — портовый город, у которого крепкие руки докера, ловкая сноровка рыбака, трудовая поступь судостроителя.

И есть в этом городе-саде, пронизанном солнцем, напоенном неповторимым ароматом эвкалиптов и цитрусов, Интерклуб, где всегда рады гостям из-за рубежа, где всегда тепло, светло и уютно после дальних странствий.

Письма! Их много! Как говорится, из самых разных дальних стран — все флаги в гости к нам.

ХРОНИКА

ВЫШЛА В СВЕТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО Тбилисского государственного университета выпустило II том «Древней русской литературы», переводы, вступительные статьи, примечания, библиографические справочники и указатели которого принадлежат Т. П. Буачидзе.

Книга является непосредственным продолжением первого тома «Древней русской литературы» того же автора, вышедшего в 1973 году и посвященного древнерусским летописям.

Во II том включены основные памятники двух жанров древней русской литературы — проповеди и жития: «Слово о законе и благодати» киевского митрополита Илариона, одна из торжественных проповедей туровского епископа Кирилла, «Слово о князьях» неизвестного автора XII столетия, летописный рассказ об убийстве Бориса, «Сказание о Борисе и Глебе», «Житие Феодосия Печерского» и «Киево-Печерский патерик».

Джумбер ОДИШЕЛИ

ЯРКАЯ СУДЬБА

НА ПУТИ исследования исторических корней дружбы между народами, на которых сегодня зиждется советский интернационализм, мы встречаемся с яркими судьбами, ставшими в определенном смысле символами этих истинно братских отношений. Определяя в историческом плане необычайно важное значение отдельных профессиональных деятелей культуры Абхазии, успешно служивших на поприще грузинской или русской культуры, проявлявших к какой-либо из этих культур глубокий и серьезный интерес, член-корреспондент АН Грузинской ССР профессор Г. А. Дзидзария как особо яркий тому пример называет писателя Георгия Михайловича Шарвашидзе (Чачба), «...который внес известный вклад в развитие грузинской литературы и общественной мысли второй половины XIX века».

Жизнь и деятельность Г. М. Шарвашидзе ярко отражена в монографии академика С. Н. Джанашиа, в которой личность Г. Шарвашидзе предстает во всей ее органической целостности с историей Абхазии именно в период становления нового русского правления в Абхазии и Грузии. Сама по себе книга С. Н. Джанашиа, кроме присущих ей неоспо-

римых достоинств, является показательным документом, свидетельствующим о дружбе между грузинским и абхазским народами.

Георгий Шарвашидзе — сын последнего владетеля Абхазии Михаила (Хамудбея) Георгевича Шарвашидзе, при котором в результате длительного целенаправленного стремления его предков добиться покровительства России (процесс, идущий еще с начала XIX века) в 1864 году было упразднено абхазское княжество.

Родился Георгий Шарвашидзе 17 сентября 1846 года в селении Лыхны, резиденции правителей Абхазии. В 1863 году отец Георгия пытался передать ему власть, однако его просьба не была удовлетворена. Скончался он в 1865 году в Воронеже.

Сын его — Георгий получил отличное образование. Его домашним воспитателем была мать Александра Георгиевна, внучка известного историка, правоведа, писателя, политического деятеля и военачальника Николая Дадиани («Диди Нико»). Многим Георгий был обязан и сестре своего деда — Кесарии Дадиани, дочери Николая Дадиани и жене родственника по отцовской линии Алибея (Александра) Шарвашидзе, в дом которого будущий писатель, следуя древней традиции, был отдан на воспитание.

Александра Георгиевна и Кесария Николаевна Дадиани-Шарвашидзе обучили Георгия грузинскому языку, которым он владел блестяще. Хорошо знал он и любил грузинскую литературу.

Свое образование он продолжил в Тбилиси, затем в Петербурге, неоднократно бывал за границей, в Европе. Кроме блестящего знания грузинского и русского языков, Георгий Шарвашидзе владел несколькими европейскими языками: французским, английским, немецким. Из его писем явствует, что знал он и латынь, а также мегрельский язык. Увлекался поэзией Виктора Гюго и Альфреда де-Мюссе, читая ее в оригинале. Прекрасное знание французского языка проявилось и в публицистике, сохранились также его двустишия-каламбуры на французском языке.

Представители же абхазских просвещенных кругов — его современники говорили, что во всей Абхазии никто так хорошо не знал всех тонкостей абхазского языка, как Георгий Шарвашидзе.

Однако судьба не баловала несостоявшегося владетеля Абхазии, представителя высших аристократических кругов. Из-за невольного участия в абхазском восстании в июле 1866 года он был вынужден жить вдали от родины—в Оренбурге. 8 июня 1871 года был направлен в Одесский военный округ в чине штабс-капитана, а 15 июня 1875 года был восстановлен в должности адъютанта главнокомандующего Кавказской армией. В дальнейшем он жил в Петербурге, где сблизился

с царевичем Александром (будущим императором Александром III). Там же он стал флигель-адъютантом Александра II. Однако в августе 1887 года он в чине полковника и звании флигель-адъютанта покинул столицу империи и поселился в Кутаиси.

Георгий Шарвашидзе всей своей служебной карьерой, любовью к русской культуре в целом, и в частности к русской литературе, доказал свое одобрительное отношение к прогрессивному историческому акту присоединения Абхазии к России. Еще 22 сентября 1862 года начальник главного штаба Закавказской армии так характеризовал его: «Одарен хорошими способностями ума и в особенности похвальными свойствами сердца. Чуждый всем местным предрассудкам и пристрастиям, он сознает, что счастье его родины может совершиться только в полном ее слиянии с Россией». Однако опасаясь реального влияния глубокообразованного, талантливого и обаятельного сына владетеля Абхазии на абхазское население, царские чиновники запретили ему жить в пределах Абхазии. Самодержавие никогда не было уверено в его благонадежности.

В 1888 году, на время пребывания в Грузии царя Александра III, Георгию Шарвашидзе вместе с Нико Николадзе было предложено покинуть Кутаиси. В ответ Георгий Шарвашидзе отказался от всех царских регалий, что, естественно, было расценено как вызов царизму. «Смело можно заявить, — говорил Нико Тавдгиридзе, — что он был единственным исключением, примером среди многочисленных наследников владетельных князей и представителей высшей аристократии, кто не сгибался, не унижал своего достоинства перед... мощным государственным управлением... С юношеских лет ненавидел он все те блага, которые проистекали от российского трона». Весьма непочтительно отзывался Георгий Шарвашидзе о деятельности сената.

В 1904 году Г. М. Шарвашидзе был избран на должность предводителя дворянства Кутаисской губернии, однако власти даже не представили его кандидатуру на высочайшее утверждение. Именно в целях опорочивания писателя было инспирировано дело об убийстве сестры его жены, Нины Андреевской. Семья Шарвашидзе становилась наследницей Нины Андреевской, погибшей, видимо, во время купания в реке Куре. В ее смерти царские чиновники обвинили молочного брата Георгия Шарвашидзе — видного абхазского ученого, руствелолога Давида (Манучара) Чхотуа и добились его осуждения.

Георгию Шарвашидзе разрешили жить в Сухуми только лишь после революции 1905 года. Дом, в котором писатель жил до конца своих дней, сохранился в Сухуми (ул. А. Ласурия, 12).

В известной мере Георгия Шарвашидзе можно причислить к великолепной плеяде грузинских шестидесятников «тергдалеули»: он также мечтал о национальном возрождении на почве примирения сословий. Единство идейно-политической платформы предопределило его искреннюю дружбу с И. Чавчавадзе, А. Церетели, Н. Николадзе, С. Месхи, Д. Микеладзе, И. Меунаргия, С. Хундадзе, Д. Эристави, И. Чкония и др.

Сохранились статьи Г. Шарвашидзе, в которых он, большой знаток и ценитель грузинского литературного языка, ратует за чистоту сохранения языковых норм. Писатель затрагивает также проблемы руствелологии, говорит о наличии в поэме интерполяций позднего периода. Г. Шарвашидзе выступает против искусственного упрощения языковых норм, упрощения орфографии даже в благородных целях облегчения обучения молодежи. «Неприемлемо,— писал он.—для облегчения обучения молодежи низводить ученость до необразованности». В той же статье Г. Шарвашидзе выступает против варваризмов.

У Георгия Шарвашидзе, как у большинства поэтов, есть стихотворение «Моя лира», в котором он излагает свое кредо. Поэт считает, что основой поэтического вдохновения, даже обязанностью изливать свою душу в поэтических формах может послужить лишь сопереживание страданиям народа, что лира не вправе служить отображению только лишь личных переживаний. «В этом замечательном поэтическом кредо, — писал С. Н. Джанашиа, в котором побеждена болезнь века — индивидуализм, со всей полнотой вырисовывается притягательное лицо поэта-гражданина».

Лира Г. Шарвашидзе, несмотря на некоторые вполне естественные пессимистические ноты, призывает к труду, к борьбе во имя всепобеждающего жизненного начала, во имя любви к отчизне.

Как писал академик С. Н. Джанашиа, «творчеству Георгия Шарвашидзе с самого начала сопутствует безошибочный признак большого литературного таланта, оно является плодом не только прочувствованного, но и осмысленного».

Патриотическими идеями проникнуты его стихотворения «Лев», «Сирота», «Варада».

Не все стихотворения поэта предназначались для публикации. Вполне справедливо отмечал академик С. Н. Джанашиа, что «...если отдельные стихотворения не попали в типографию по вине цензуры, то некоторые из них не предназначались для печатания самим автором. Поэтому для характеристики Г. Шарвашидзе мы не вправе обращаться к ним».

В исторической пьесе «Георгий III», написанной прозой вперемешку со стихотворной формой, поэта-патриота привлекают фигуры прогрессивных деятелей прошлого — в первую очередь Давида Строителя, Георгия III, царицы Тамар. В них он видит олицетво-

рение мощи единого государства. Правильно оценивая историю феодальной эпохи, писатель подчеркивает прогрессивное значение центральной власти, пагубность феодального сепаратизма.

Проблема исторического взаимоотношения горцев Кавказа с равнинным населением Грузии вдохновила писателя на создание поэмы «Крепость Гвадана» (к сожалению, неоконченной).

Печатью большой душевной теплоты, дружеской любви, а также неподдельного юмора отмечен стихотворный диалог между Акакием Церетели и Георгием Шарвашидзе. Юмор, присущий Георгию Шарвашидзе, пронизан человеколюбием, тактом, мягкостью.

В 1911 году Георгий Шарвашидзе публикует в «Закавказской речи» (№ 146) письмо редактору газеты «Берлинер Тагеблат» в ответ на злопыхательскую статью ее корреспондента Лоренца. «Этот народ, — писал Г. Шарвашидзе,— к которому он отнесся презрительно, имеет блестящее историческое прошлое... Грузины-рыцари, ходившие в крестовый поход поборниками первого христианства, стояли у врат Кавказа на часах с мечами наголо в течение пятнадцати веков не для того, чтобы врываться в чужие страны и расхищать чужое добро, а для защиты отечества... У грузин есть богатейшая древняя эпическая литература, сравниваемая с мировыми произведениями... В иерархии грузинских царей и народа встречаются имена необыкновенных героев и людей гениальной мудрости...»

По поводу указанной статьи писатель Антон Пурцеладзе с чувством благодарности писал Георгию Шарвашидзе: «Я давно знал Вас как человека, сердечно любящего нашу обездоленную страну... Я еще раз убедился в Вашей любви к нашей стране и в Ваших литературных дарованиях».

Георгий Шарвашидзе по-рыцарски, с интернациональных позиций боролся также против проявления национального притеснения. Армянская социал-демократическая газета «Паикар» с чувством благодарности отмечала, что в 1904 году Георгий Шарвашидзе выступил в защиту армянских поселенцев на территории Абхазии.

Истинный ценитель сценического искусства, Георгий Шарвашидзе оставил нам замечательные статьи о корифеях грузинской сцены Ладо Месхишвили, Васо Абашидзе, Валериане Гуния, М. Сафаровой-Абашидзе, Е. Черкезишвили, Котэ Кипиани и др., написанные на высоком профессиональном уровне, без восторженного захваливания, с учетом самой трезвой и объективной оценки их огромного таланта.

Писатель посещает спектакли не только грузинской театральной труппы. Он пишет рецензию на спектакль «Ханума», поставленный армянской труппой («Иверия», 24 ноября 1893 г., № 254), где, в частности, отмечает, что песни в спектакле исполнялись на

грузинском языке и восторг публики вызвало отличное исполнение «Лекури» артистами Черкезишвили и Ацкурели. Вынужденный жить вне пределов родной Абхазии писатель-патриот подписывал свои рецензии псевдонимом «Изгнанник».

Что касается социально-политических взглядов Г. М. Шарвашидзе, то «...он не смог до конца преодолеть свою классовую ограниченность, сводившуюся к идеализации патриархально-феодального образа жизни» (Г. А. Дзидзария).

Одновременно писатель восставал против язв, разъедающих западную цивилизацию. «Да, мы еще не дошли до европейской высшей цивилизации, где животные имеют преимущество перед людьми. Так, например, олени занимают обширные пространства парков, а люди, не имея клочка земли, задыхаются в копях, на тяжелых работах; великолепные здания выстроены для лошадей, их кормят, поят и холят, а человек, не имея двух пенсов для ночлега, зачастую издыхает во дворе». Уважением к человеку, в особенности к обездоленному, проникнута вся деятельность Г. М. Шарвашидзе.

Георгий Шарвашидзе отличался прекрасной внешностью и олицетворял собой тип рафинированного интеллигента-абхазца. Знаменательно, что при создании образа Тариэла именно на нем остановил свой выбор известный венгерский художник Михай Зичи, работавший над театрализованной постановкой живых картин по «Витязю в барсовой шкуре».

Скончался Георгий Михайлович Шарвашидзе 19 февраля 1918 года и похоронен рядом со своим отцом в Моквском соборе.

Жизнь, творчество, общественная деятельность Георгия Шарвашидзе символизировали многовековое братство между грузинским и абхазским народами.

«Как подобает истинному абхазцу, — писал Геронтий Кикодзе,— Георгий Шарвашидзе с одинаковой силой любил мать, родившую его, а также мать, которая вскормила его своим молоком. Он не изменил им и в пору их бедности и унижения и до конца своего жизненного пути сохранил веру, что обеих ждет счастливое будущее».

ОДИШЕЛИ Джумбер Эммануилович. Род. в 1932 г. Кандидат исторических наук, ученый секретарь Института истории, археологии и этнографии им. И. А. Джавахишвили АН ГССР. Автор работ по источниковедению средневековой истории Грузии.

Давид АНДРИАСОВ

ФЕНОМЕН „ЧЕРНОЙ ПАЛИТРЫ“

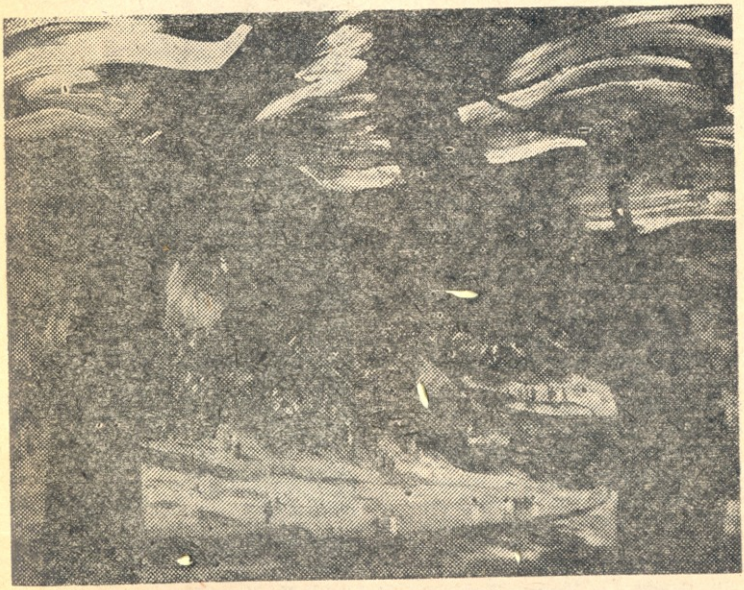
Живопись Нателы Ианкошвили своей сущностью связана с тем течением современного изобразительного искусства, насущной задачей которого является стремление установить с миром контакт, основанный на непосредственных, чисто интуитивных началах, с приматом чувственности. Ее стихией никогда не было только внутреннее созерцание или аналитически подкрепленные структуры. Основная ценность ее творчества — это эстетический феномен, который надо искать в глубинных пластах полотен и который содержит в себе определенный нюанс аналитизма. Создавая художественный образ, Ианкошвили в первую очередь обращается именно к эстетической природе предмета и лишь потом путем познания онтологических основ вызывает образы из объективной или субъективной реальности, что совершенно естественно: мастер старается направить внутренние силы на ту или иную модель или личность, явление или ситуацию главным образом для того, чтобы вскрыть действенную основу именно художественного, а затем философского, социального и даже литературного порядка, то есть — еще и еще раз выразить систему образа через духовную сущность и проблематику, характерную для его бытия.

Художественная ценность полотен Ианкошвили во многом определена своеобразием

ее стиля — гиперболизированных, высокоэмоциональных характеров, широких изобразительных планов, живописных массивов, панорамной образности и мажорного темперамента.

Главное достоинство Нателы Ианкошвили-колориста заключается в том, что она полностью доверяется эмоционально-выразительным возможностям цвета, именно в нем ищет и находит собственно живописные способы отображения действительности.

Работы Н. Ианкошвили как портретные, так и в других жанрах всегда отличались яркой индивидуальностью и переходили границы традиционности и ординарности. В портретном творчестве, в его внутренне-духовной и художественно-стилевой ткани с самого начала прослеживалась непосредственная связь с теми современными прогрессивными идейно - эстетическими тенденциями, которые утвердились в грузинском (да и во всем советском) искусстве в 50—60 годы. В это время обострился интерес не только к поискам изобразительных и национальных форм, но и к исследованию собственно образа-характера как сложнейшего изобразительного мыслительного феномена, который одновременно связывался как с чувственными, так и познавательными источниками образной реальности. У Ианкошвили познавательные категории опосредствованы в эмоциональной сфере, куда переместился эпицентр ее художественного мышления. Имен-



«Колхозные поля».

но в художественном образе прослеживаются ее философско-этические опоры и образные реалии. На пути исканий художника принципиальное значение приобретает автопортрет «Черная палитра» (1959 г.), который отличается независимыми изобразительно - живописными достоинствами и символикой. Позже, на всем творческом пути художника, во всей полноте выявилась ее программная установка и стала более явственна эпическая окраска ее полотен.

Ианкошвили с самого начала старалась отмежеваться (и в этом тоже проявилось ее «упрямство») не только от натуралистических привычек, «приобретенных» в академии, но и от любых подслащенно аристократизированных форм. В образе, создаваемом художником, выявляются прежде всего его внутренние формы. Возвышенный настрой для Н. Ианкошвили не заимствованное, приобретенное качество, но прирожденное духовное свойство, в которое редко просачивается сентиментальная нота.

«Персонажи» живописного мира Н. Ианкошвили наделены страстями и человеческой болью, это личности, для которых элегантность — имманентное свойство души. Таково полотно «Нино Чавчавадзе», созданное по классическим принципам портрета, со скупой палитрой и живописной насыщенностью, глубокой внутренней выразительностью и динамикой, одновременно эластичным и упругим рисунком, рельефной формой, прозрачными градациями бликов и живописной цельностью фона.

В портретах Нуну Гелдиашвили и Ирмы Чопикашвили с большим внутренним темпераментом освоена внутренняя конституция моделей. Изумрудный фон в обеих работах, так же как и в других («Нукрия», «Анна Вардиашвили), органически сочетается с живописными истоками моделировки лица и фигуры. В портрете Н. Гелдиашвили художником взят курс живописной характеристики, строящийся на таких принципах меняющейся тональности рефлексов и светотени, при которых в совершенстве звучат объемно-пластические, образно-знаковые данные модели.

«З. Кверенчхиладзе»

«Николоз Бараташвили».

Ожерелье и красные перчатки (моделированные рефлексами зеленого, киновари и крапп-лака) вносят сильный эмоциональный заряд в темную однотонность одежды.

В портрете Ирмы Чопикашвили с психологической глубиной проявляется мощное внутреннее волевое начало модели-объекта, которому созвучен строго монументальный строй пластической структуры, вносящий драматический пафос в общую партитуру живописного полотна. В этом портрете уже видна методологическая склонность художника к черному цвету. Сочетание зеленого и черного цветов вырастает в единую колористическую систему, что в дальнейшем станет основой всей живописной поэтики Н. Ианкошвили и окажет животворное влияние на выработку триады эстетической концепции вообще: это точно найденный колористический ключ, внутренняя правда, эмоциональное начало.

В портрете «Медея Джапаридзе» исследование характерно - психологических качеств модели идет совершенно своеобразным путем. Художник не становится тривиальным фиксатором физической красоты и артистизма актрисы, но обнаруживает своеобразный комплекс Клеопатры в природе самой модели. В этом портрете еще раз проявилась способность Н. Ианкошвили «читать» натуру, угадывать ее «внутренние ходы», более того, своеобразно «обличить» характерные личностные достоинства модели. В таком контексте образной реальности правомерны слова Ф. Достоевского: «В редкие только мгновения человеческое лицо выражает главную черту свою, свою самую характерную мысль. Художник изучает лицо и угадывает эту главную мысль лица, хотя в этот момент, в который он описывает, и не было ее вовсе в лице». Портрет, созданный Н. Ианкошвили, удивительно созвучен точным наблюдениям гениального писателя - психолога и свидетельствует об умении со своей художнической позиции в действенном четком психологическом ракурсе угадать в модели эту «самую главную мысль» и обобщить до единой личностно-образной доминанты.

Своеобразным верификационным источником портрета «Медея Джапаридзе» является сквозной принцип глубоко интуитивной авторской природы

и интеллектуально направленной энергии.

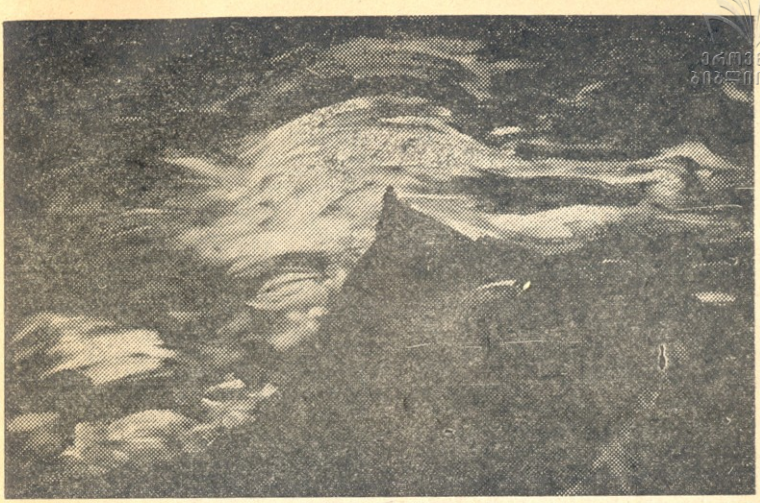
Своеобразна эволюция портретов Зины Кверенчхиладзе. Если в 1965 году художник создает портрет актрисы в роли Лелы («Бахтриони» Д. Гачечиладзе) и старается осмыслить характер объекта в «готовом» образе, то в портрете, созданном в 1976 году. Н. Иankошвили выбирает более сложный путь, на сей раз создавая обобщенный образ актрисы со всеми духовно-психологическими, творческими или биографическими измерениями.

В последних, созданных в пору творческой зрелости работах Н. Иankошвили серьезно относится не только к принципу отбора живописно-пластических указателей (цвет одежды и т. п.), но смело обращается к художественно и духовно оправданной классификации психологических природных признаков - ферментов.

Истинным шедевром Н. Иankошвили можно считать портрет Анны Вардиашвили. Здесь акцентировка каждой детали (которая в свою очередь доведена до минимума), будь то глаза модели, характерное движение губ, пластика скул или великолепно выписанное янтарное ожерелье, общая пластическая конструкция служит осмыслению и выявлению внутренней «профессиональной» природы модели — известной исполнительницы грузинских народных песен. В этом образе легко узнаваем пиетет автора.

Те же определенные внутренние факторы прослеживаются в «Портрете отца», отличающемся точным и глубоким ощущением человеческой натуры и необыкновенной теплотой. Непосредственное живописное «дыхание» цвета перерастает в драматизированное видение, а своеобразная печать грусти опосредствована внутренней витальной энергией модели, конструкция которой развивается на холодном изумрудном фоне. Акцентированная смелыми черными мазками, моделированная зелеными тенями и освещенная желто-белым светом эмоциональная тональность лица рождает ощущение внутреннего ритма. В «Портрете отца» есть ощущение невидимой генетической жилки, что еще больше расширяет сферу внутренней правдивости произведения и с новой, дополнительной силой выявляет его художественную ценность. В поэтике другой работы — «Лия в Чакуре» доминирует иная пластико-содержательная основа композиционного строения полотна — она строится на единой основе архитектониче-

«Борис Пастернак».



«Храм Джвари».

ской логики. Ее общая структура создает контрапункт выстроенности внутренних и внешних форм модели. В общей структуре портрета сливаются стилистическо-живописные и духовно-содержательные сферы, в нем совмещаются чисто декоративные и живописные планы внутри общего абриса фигуры, смелые живописные мазки с новой силой передают душевное состояние объекта. Здесь все дышит первозданной силой, выражающейся в пластике рисунка, обусловленного врожденной тяжестью формы, которая в свою очередь уравновешена мягкостью четкого контура.

Исключительный интерес представляет полотно «Тамар Тархнишвили», увиденное ясным взглядом художника, отличающееся безупречным вкусом. Смелые сочетания светотени, отзвук «утопленного» в темном колорите фона черного веера, лаконичная драпировка юбки, характерная пластика левой руки в перчатке создают тот точно найденный живописно - характерологический комплекс, в котором аристократизм своеобразно окутанный дымкой меланхолии, принимает на себя всю тяжесть психологической обрисовки натуры.

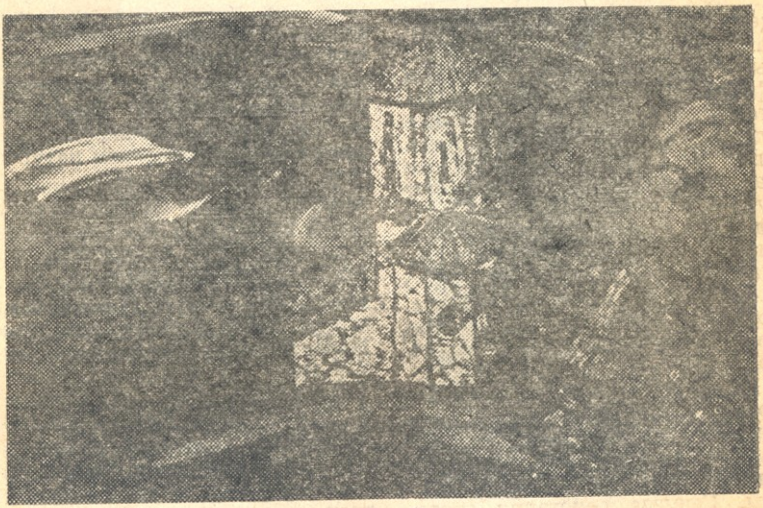
В портретах Н. Ианкошвили модель никогда не замкнута в пространстве и времени. Она существует как конкретный индивид в общем хронотопе. Живописный ключ Ианкошвили всегда точен в раскрытии природы натуры. Он дает ей возможность в портрете «Нино Чавчавадзе» дать изображение и фон в одинаковой холодно-прозрачной гамме. В пластически выразительной конструкции портрета Бориса Пастернака в черно-зеленый колорит смело введено красное пятно цветка как заключительный

эмоциональный и семантический аккорд.

Во втором портрете Н. Бараташвили (1980), моделируя одежду (черно - изумрудный фрак), Н. Ианкошвили мастерски использует белизну полотна, благодаря которой добивается утонченной градации. Этот прием интересен сам по себе, не говоря уже о самостоятельной психологической нагрузке и выразительности портрета.

Духовная устремленность в портрете Б. Пастернака, как и в первом портрете Н. Бараташвили (1978), снова берет начало в глубинных пластах внутреннего мира поэтов. Н. Бараташвили в композиционном построении живописно-портрете Б. Пастернака, как образ личности, рядом с которой «всегда стояла тень скепсиса» (Ак, Гацерелия). Именно как тень скепсиса виднеются за спиной поэта причудливо изогнувшиеся силуэты двух черных деревьев, а скрытно-иронический взгляд поэта, кажется, бросает вызов самой действительности.

В трактовке портретов Н. Бараташвили и Б. Пастернака художник нашла как общие, так и отличительные черты для их образно-характерного выражения. Если образ Бараташвили осмыслен в экстраверсивно-психологической ситуации, то образ Б. Пастернака преломляется в интроверсивном спектре. В нем сконцентрировано несколько параллельно действующих, пересекающихся скрытых фабульно - ассоциативных пластов: в образной логике поэта узнаваем как его глубокий волевой пафос, так и дремлющая в поэте внутренняя борьба. За ним возвышается силуэт черного дерева, в изломах которого видится ассоциативная связь с поэзией Пастернака. Красная же роза, символ



«Храм Некреси».

«Лия в Чакуре».

вечной чистоты, ассоциируется с розами из Цинандали — розами божественных дочерей Чавчавадзе, с бессмертием их духа. Образ спровоцирован ими. Так замыкается магический круг на пути дешифрования ингредиентов образа Пастернака, раскрывается сущность их внутренней связи с портретом Н. Бараташвили. Происходит поиск тех ферментов, которыми отличаются идентичные на первый взгляд структуры. Это проявляется во многом. К примеру, в этих двух произведениях различны способы отображения фона — если в «Николозе Бараташвили» пространство фона написано частыми мазками и ощущается как единая неразделенная плоскость, то в «Борисе Пастернаке» в «синкретизированном» пространстве ночной тьмы молниеносно, как кометы, проносятся крупные пастозные мазки, которые передают состояние души главного и единственного героя живописного полотна.

Таким образом, эти две портретные композиции можно квалифицировать как своеобразный диптих.

В живописи Иankошвили превалируют зеленые и черные цвета. Вспомним пейзажи «Старое дерево», «Мертвое дерево», «Черные деревья» с их нарастающим ритмом вертикальных конструкций, с диагональными конфигурациями, еще сильнее подчеркивающими пластичность отображаемого. «Джвари» — великолепный тому пример. В нем налицо сознательное авторское отношение к художественно-образным задачам. В этой работе поэтика пространственно - пластического отображения объясняется общеисторической спецификой реалий: ракурс, с которого изображен памятник (низкая точка видения), его отраженный силуэт вписывается в монументальную пространственную ситуацию.

Полотна «Осень в Гомбори» и «Весна в Гомбори» могут служить примером иллюзорного перевоплощения реальности. Меняющаяся ритмика живописных масс, отмеченное драматизмом безмолвие создают атмосферу сопричастности к великой тайне природы.

«Гомборская дорога», с крупными террасными конструкциями гор, навеяна эмоциональным настроем художника, умело нашедшего живописно-динамический эквивалент эпическому строю картины.

Эмоциональная партитура пейзажей Ианкошвили, созвучная галактионовской строке «окутанная печалью мечта о черном», многолика — низкий регистр постепенно перерастает в крещендо.

«Атенский Сиони», «Убиси», «Некреси», «Уплисцихе», «Уджарма», «Самеба» не только архитектурно - этнографическое воспроизведение истории. Н. Ианкошвили, как и в «Джвари», приближается к своим моделям путем суггестивного постижения исторического прошлого. Когда она рисует эти памятники, выписывает фрагмент узора или деталь, ею движет не разум этнографа, не желание натуралистически воспроизвести памятник прошлого, а страстное желание воспеть красоту и мощь человеческого разума, человеческой десницы. Именно это позволяет художнику услышать живописную симфонию «Схалты», любоваться желто-белым колоритом «Икалто». Противопоставлением насыщенного красного цвета крыш и слиянием контрастных тонов на черно-зеленом и желтом фоне создается общая гармония. Аналитический ум дает Ианкошвили возможность точно предугадать и найти для изображаемого объекта ракурсную «географию», учитывая при этом исторические и эстетико-пластические габариты архитектурного памятника. Именно этот «механизм» и срабатывает в художнике, когда она создает открытую структуру пластико-пространственной конфигурации «Джвари», ландшафтный контекст «Нижнего Некреси», монументальность «Лавры монастыря Давида Гареджи».

Дар восприятия художником возвышенного помог Н. Ианкошвили выразить трансцендентальную печаль в «Омало». Те же настроения доминируют в пейзажах Кахети, Месхети, Тушети, Хевсурети, Военно-Грузинской дороги. В них наряду с чувством внутренней гордости ощущается и другое — нечто недосказанное, наболевшее, обусловленное необратимым ходом истории.

Все это чувствуется в темном колорите и безлюдном ландшафте этих произведений.

У Ианкошвили цвет оказывается единоличным носителем светового начала. Можно сказать, что живописная система Ианкошвили опирается на «натуральные» качества колористического феномена и творчески оправдывает отношение художника к «цветовому» комплексу. Э. Фромантен писал: «Есть живописцы — доказательство тому Веласкез, — которые умеют создавать изумительный колорит при помощи самых мрачных красок». Колорит Ианкошвили создается примерно по этому принципу. «Примерно» — ибо Фромантен имел в виду последовательную и каноническую поэтику, а стиль Ианкошвили предельно современен.

В тех случаях, когда Ианкошвили создает бесконечные вариации соотнесенных цветовых гамм, она умудряется сохранить в живописной структуре произведения основное — выделяет специфические показатели тени и полутени, валёра и т. д. Так что у Ианкошви-

ли цвет представляется не только как психологический ноумен, но и как психофизический феномен.

Острое ощущение дисгармонии мироздания является источником драматизма в полотнах Ианкошвили, хотя в минуты наибольшего душевного напряжения автора ни на минуту не оставляют реалии гармонии, шиеся в ее подсознании. Этот «вечной памятью» отложив-синестезированный план в структуре произведений Ианкошвили вырисовыва е т с я функциональными сферами его проявления. В единой системе ее живописных полотен находят место образные знаки дисгармонии и гармонии, а их материализованные конструкции определяют характер интерпретации. Здесь очень важно внутреннее качество материализованных форм и их соотношение с общей эфемерной миражной оболочкой. Общий принцип формообразования у Ианкошвили непосредственно связан с духовно - содержательным аспектом полотен, в образной действительности которых дифференцированно проявляются отпечатки миросозерцания и его материализованно-предметные доминанты. Примат визуального мышления способствует упорядочению планов конфигураций. Зрительный феномен живописи дает возможность зафиксировать ряд визуальных парадогм. Миражная оболочка произведения мгновенно принимает статус художественной объективности. Этим можно объяснить то, что моделированная без всякой светотени, осмысленная как черное пятно пластика деревьев так объемна, зесома и едина. У Ианкошвили общая вещественная проблематика и типологическая денотация непосредственно связаны с существенными признаками ее художественной индивидуальности, с характером ее поэтики и лексики. В итоге процесс восприятия — трансформации объективных признаков реальных форм — у Ианкошвили непосредственно связан с познанием внутренней реальности мира и проблематикой его переосмысления. Конкретные параметры времени и пространства здесь спарены с универсальными измерениями бесконечных пространственных структур. Именно здесь просматривается элегический план самого восприятия, план, который может быть воспринят как феномен молчания, тем более, что черный цвет является одним из его атрибутов. Наряду с этим сам черный цвет у Ианкошвили является как бы поворотом к прамоделям сознания, когда цвет еще не был дифференцированно осмыслен; и синий, и голубой, и т. д. воспринимались как черный цвет.

* * *

В живописи Н. Ианкошвили, на мой взгляд, самое существенное — символика, вытекающая непосредственно из общестилистической и онтологической природы ее творчества. Ведь она принадлежит к разряду грузинских художников, смело заявивших в искусстве о самостоятельном стиле — высшем проявлении творческой целеустремленности. Проблема символа у Ианкошвили воспринимается как унитарная. Символ здесь осмыслен в необычайно широком контексте.

Субстанциональный символ и его архетип у Ианкошвили связан созерцательными планами с элегией, дремой, мол-

чанием. Однако (и это главное) он имеет более существенный идейно-семантический план. Структурно - эмоциональное поле полотна создается с помощью мысленно - технологических сфер логики «солнечной ночи».

Этот модус особенно ощутим в пейзажах, общий конструктивно - ассоциативный контекст которых организован в соответствии с мотивом общего концептуального толка и тонуса эмоционального настроя, ибо «с помощью хорошо составленного ландшафта нельзя строить аллегории» (Б. Фон Рамдор). Художник в известной степени преодолевает руставелевский символ, являющийся статусом космогонического образа христианства, и переходит в другую плоскость. «Солнечная ночь» Иankошвили восходит к древнейшим истокам, зафиксированным в библейских анналах и гениально переданных в «Сикстинской капелле» Микеланджело.

В работах Иankошвили черный цвет на только колор, а уже — мифема и сементема, с помощью которой прочитывается бесспорная тенденция восстановления и переосмысления следующей прамодели: царство тьмы и возгорание в нем света. Разделение тьмы и света, иерархической фазы становления мироздания не составляет предмета моделирования у Иankошвили. Она останавливается на конкретно - осмысленных данных прамодели и обобщает их как в идейно-мыслительном, так и в живописном контексте, составляющем основу мировоззренческих и живописных систем.

Признаки, определяющие художественный профиль Н. Иankошвили, прорастают из основных постулатов ее личностно-этической сущности. На Иankошвили как на необычайно самобытного, имеющего свой оригинальный голос мастера совершенно не распространяется тот факт, «когда, в лучшем случае, говорят о неповторимости голоса поэта, а не целостности и независимости его личности, будто речь идет не о совершенно разных живых людях, а о различных инструментах одного оркестра» (Г. Асатиани).

Действительно, искусство Иankошвили совершенно своеобразно. Оно звучит во весь голос в мощном оркестре грузинского изобразительного искусства.

АНДРИАСОВ Давид Сергеевич. Род. в 1958 г. Окончил филологический факультет ТГУ. Занимается проблемами современного изобразительного искусства. Печатается в республиканской и всесоюзной прессе.

ДНИ ГОРЬКОГО В ГРУЗИИ

В СТОЛИЦЕ Грузии прошли дни Горького, организованные Союзом писателей СССР, Институтом мировой литературы имени Горького Академии наук СССР, Союзом писателей Грузии, Тбилисским государственным университетом и Институтом истории грузинской литературы им. Ш. Руставели АН Грузии.

Участники встречи, посвященной 90-летию со дня опубликования рассказа «Макар Чудра» в газете «Кавказ» в сентябре 1892 года, обсуждали тему «Наследие Максима Горького и современность».

В актовом зале Академии наук республики прошла всесоюзная научная конференция.

Конференцию вступительным словом открыл директор Института мировой литературы им. А. М. Горького Академии наук СССР, член-корреспондент Академии наук СССР Г. Бердников.

— Девяносто лет назад, 12 сентября 1892 года, в тифлисской газете «Кавказ» был опубликован рассказ «Макар Чудра», — сказал он. — В русской литературе появился новый писатель — М. Горький. Так подписал свое первое произведение Алексей Максимович Пешков. ...В Грузии будущий писатель наконец-то нашел прочную опору, близкую ему по духу среду, здесь начал пропагандистскую революционную деятельность, здесь обрел веру в свои силы.

Революционная сущность раннего творчества Горького определилась уже в Тифлисе. Здесь был написан первый вариант легенды о Данко, рассказ «Девушка и Смерть». От всех этих произведений был уже прямой путь к «Песне о Соколе» и «Песне о Буревестнике», которые принесли Горькому заслуженную славу буревестника революции. Так глубоко сказались в раннем творчестве писателя его грузинские впечатления.

Участники научной конференции заслушали доклады о традициях основоположника социалистического реализма и их развитии в многонациональной советской литературе, разносторонних связях Горького с Грузией, с которыми выступили доктор филологических наук Б. Бялик, член-корреспондент Академии наук Грузинской ССР, секретарь правления Союза писателей республики Г. Цицишвили, известный советский прозаик В. Тельпугов, доктора филологических наук В. Келдыш, Г. Гиголов, Л. Юрьева, кандидаты филологических наук С. Заика, Л. Арутюнов, И. Вайнберг, писатели Ю. Яковлев и Ч. Амирэджиби.

В работе конференции приняли участие секретарь ЦК КП Грузии Г. Енукидзе, заведующий отделом культуры ЦК КП Грузии Н. Джанберидзе.

Участники Дней Горького в Грузии возложили венок к

памятнику В. И. Ленину. Минутой молчания они почтили память гениального вождя революции.

Цветы были возложены и к памятнику М. Горькому.

РОМАН Н. ДУМБАДЗЕ — НА ЛИТОВСКОМ

ЛИТОВСКОЕ издательство «Вага» («Борозда») выпустило в свет роман лауреата Ленинской премии Нодара Думбадзе «Закон вечности».

Это уже четвертая книга произведений Н. Думбадзе, изданная на литовском языке.

Общий тираж книг грузинской художественной литературы и фольклора, изданных в Литве, превысил 650 тысяч экземпляров, что еще раз свидетельствует о постоянном интересе литовского читателя к лучшим образцам грузинской литературы.

НАШИ ГОСТИ — ПИСАТЕЛИ США

В СТОЛИЦЕ Грузии гостили писатели из США — ректор университета Пеппердайн в Лос-Анжелесе г-н Янг и проректор этого же вуза г-н Тэгнер. Они принимали участие в традиционной встрече американских и советских писателей, которая проходила в Киеве и была посвящена теме «История и литература».

В Союзе писателей Грузии состоялась встреча с американскими писателями. В седе принимали участие п седатель правления Со писателей Грузии, лау Ленинской премии Н. Дум дзе, секретари правления за писателей республ Г. Цицишвили, Р. Миминош ли, Дж. Чарквиани, Т. Ч дзе, председатель Глав редакционной коллегии делам художественного пе вода и литературным вз мосвязям при СП респуб ки О. Нодия, главные ре торы журналов «Литерату Грузия», «Мнатоби» и «Ди Т. Буачидзе, А. Сулакау Э. Нижарадзе, директор сударственного издатель «Накадули» М. Поцхишви прозаик А. Чхиквишвили.

Гости из США отмет плодотворность встречи в еве. Следующая конферен американских и советских сателей состоится в бу щем году в Лос-Анжел Гости высказали пожела чтобы Нодар Думбадзе участник прежних встреч принял участие в буду конференции.

Председатель правле Союза писателей Грузии Думбадзе ознакомил го со структурой писатель организации республики, ветил на интересующие их просы.

Американские писатели мотрели достопримечател сти Тбилиси, побывали в онах республики.

Сдано в набор 6.IX-82 г. Подписано к печати 22.X.-82 г. Фо 84×108¹/₃₂. УЭ 01271. Высокая печать. Печ. л. 7,0 — усл. п 11,97. Уч-изд. л. 9,4. Тираж 8300 экз. Заказ № 2139. Адрес реда 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон: 99-06-59.

ეროვნული ბიბლიოთეკა

Главный редактор Т. П. БУАЧИДЗЕ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

З. Г. АБЗИАНИДЗЕ, Р. Н. АСАЕВ, Х. Л. ГАГУА, А. Н. ГОГУА. Г. П. ДОЧАНАШВИЛИ, Э. В. ЕЛИГУЛАШВИЛИ, М. И. ЗЛАТКИН, Н. Г. КАРАШВИЛИ (ответственный секретарь), Э. Д. КВИТАИШВИЛИ, Г. Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ, В. Г. МАЧАВАРИАНИ, О. Ф. НОДИЯ, Л. Ш. СТУРУА, Э. А. ФЕЙГИН, Г. В. ХАРАИДЗЕ (заместитель главного редактора), Г. Ш. ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

Тбилиси, ул. Ленина, 14

65 к

ИНДЕКС 76117

ეროვნული ბიბლიოთეკა